

и
л

и
л

Библиотека
журнала
«Иллюстративная
литература»

Фрэнсис Кинг

Дом

Фрэнсис Кинг. Дом





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Francis King

Фрэнсис Кинг

Дом

Рассказы

Перевод с английского

Составление А. Николаевской

Предисловие Георгия Анджапаридзе

Москва
«Известия»
1985

И (Англ)
К41

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент Георгий Анджапаридзе

Обложка художника П. Чернуского

© Francis King, 1980.

© Составление, оформление, предисловие,
перевод на русский язык издательство
«Известия», журнал «Иностранная лите-
ратура», 1985.

Трагизм обыденности

После второй мировой войны в литературе Великобритании наряду с всемирно известными мастерами И. Во и Г. Грином, Ч. Сноу и Дж. Б. Пристли стали утверждаться и быстро завоевали заслуженную популярность У. Голдинг, А. Мэрдок, Э. Уилсон и многие другие писатели. Имя Фрэнсиса Кинга, писателя, хорошо известного отечественному читателю (он опубликовал свои первые произведения в 1946 году, за сорок лет работы выпустил более чем двадцать книг: романов, сборников рассказов, стихов и эссе), до сих пор, к сожалению, не привлекало внимания наших издателей, хотя отдельные рассказы включались в антологии.

Быть может, отчасти это объясняется тем, что Кинг был не слишком удачно назван писателем «малой темы», но давно и доподлинно известно, что для настоящего искусства не бывает «малых тем».

В самом деле, и рассказы, и романы Ф. Кинга камерны. Но эта внешняя камерность, замкнутость обманчива. Писатель озабочен вечным и злободневным вопросом — как людям найти кратчайший путь друг к другу? Он скрупулезно исследует преграды и препоны, на этом пути возникающие, а иногда и воздвигнутые самими людьми.

Кинг — великолепный новеллист, умеющий в чеховской традиции создать атмосферу и настроение в самых, казалось бы, банальных бытовых ситуациях, одной-двумя отточенными фразами наметить характеры и их противоборство. Он — мастер неожиданной детали, парадоксального, но всегда попадающего в цель сравнения: «На покрывале разбросаны листы бумаги, пол усеян бумагой, и под ногами суетившейся Элизабет она шелестела, словно потревоженные жуки» («Дом»). «Он лежал в темноте, зажав кошачье ухо между пальцев, словно увядший лист...» («Хороший конец»).

Признанием таланта Кинга-новеллиста стало присужде-

ние ему премий Сомерсета Моэма и Кэтрин Мэнсфилд.

Внешне жизнь писателя небогата событиями. Родился в 1923 году. Окончил известный оксфордский колледж Бэллиол и всегда профессионально занимался литературным трудом. С 1945 года — сотрудник журнала «Лиснер». С 1949-го по 1963-й работал по линии Британского Совета — правительственной организации по развитию культурных связей с зарубежными странами — во Флоренции, Салониках, Афинах, Хельсинки и Киото. Был штатным литературным рецензентом газеты «Санди таймс». Сейчас штатный театральный обозреватель «Санди телеграф».

Наверное, почти пятнадцать лет работы за пределами Англии определили одну из сквозных тем творчества Кинга — взаимоотношения людей разных национальностей. Он сам писал: «Я убежден в существовании национального характера». Впрочем, для большинства английских писателей, еще со времен Джейн Остин и Диккенса, национальный характер, особенно английский национальный характер, — вещь самоочевидная... Однако для Кинга английский национальный характер не исчерпывает всего богатства человеческих типов личности. Знаток и пристрастный портретист соотечественников, он в то же время увлечен характерами, сформированными другими культурами и традициями.

Отдавая дань гротеску, гиперболе, любуясь броской экзотичностью отдельных своих персонажей, Кинг всегда остается строгим и последовательным реалистом. Он не из тех писателей, что охотно приглашают читателя в свою творческую лабораторию, готовые открыть все секреты ремесла. «Я всегда уделял особое внимание форме и стилю. И считаю, что меня посетила удача тогда, когда читатель не замечает моих усилий».

Герои Кинга чаще всего люди не очень обеспеченные, большинству из них приходится думать о хлебе насущном. Их повседневное, обыденное существование, в котором так много незаметных, но полных трагического накала коллизий, стало содержанием его произведений.

Рассказы Ф. Кинга, включенные в данный сборник, ло-

гично и легко подразделяются как бы на два «цикла»: «английский», персонажи которого исключительно англичане, и «неанглийский», где действуют персонажи иных национальностей. Конечно, наше деление условно, но оно помогает понять две сферы художественного мира Ф. Кинга.

Писатель зорко видит как достоинства, так и недостатки национального характера своих соотечественников в социально-конкретном воплощении. При этом нередко недостатки суть продолжения достоинств — сдержанность нередко превращается в холодную бездушность, бережливость оборачивается скарденностью, здоровый спортивный азарт — натужными попытками нелепого самоутверждения и т. д. В рассказах Кинга словно испытывается на прочность традиционная система моральных ценностей английского среднего класса, к которому независимо от рода деятельности принадлежит большинство персонажей писателя. В этой системе ценностей принципиальное место занимает понятие «дом». Широко известна английская пословица «Мой дом — моя крепость». Но во второй половине XX века «крепость» не может предохранить своего хозяина от вторжения враждебных разрушительных сил — отсюда «дом из стекла» (в одноименном рассказе), безмятежное благополучие хозяйки которого хрупко и иллюзорно. Отсюда постоянные, хотя и совершенно ей не нужные поездки за границу Элинон, стремящейся стряхнуть с себя «жандармскую хватку» Элинон (рассказ «Дом»). Кинг глубоко проникает в диалектику отношений двух подруг, четверть века деливших кров. Деликатная, но слабохарактерная Элинон всегда уступает давлению активной и умеющей подчинить себе окружающих Элинон. Ненасытная алчность Элинон, стремящейся выгадать хотя бы пенни даже за счет своей ближайшей приятельницы Элинон, маскируется традиционным британским лицемерием: «Получая с жильцов двадцать пять фунтов в неделю за стол и квартиру, Элинон любила поддерживать миф о своей душевной доброте, по которой только и пустила жильцов». Но сила натуры Элинон не может не вызвать уважения — ведь даже с одра болезни она продолжает «ру-

ководить» Элизабет, искренне полагая, что без ее указаний та все сделает не так. Символично, что смерть настигает этого современного Гобсека в юбке за подготовкой счетов... И нет ничего дурного или кощунственного в чувстве, пробудившемся в душе Элизабет: «Кончилось твое рабство».

У Кинга не так много описаний природы, но именно потому они исполнены смысла, как, к примеру, несколько фраз о саде в рассказе «Дом».

Лондон — город чудес не только потому, что в нем великое множество исторических достопримечательностей и памятников архитектуры... Если от Кенсингтон-Хай-стрит подняться по Кенсингтон-Черч-стрит до Холланд-стрит и пройти по ней до первого перекрестка, то, миновав старинный паб «Слон и Замок» с грубыми деревянными скамьями на улице, очутишься на уютной улочке под названием Гордон-плейс. На ней-то и стоит не похожий на крепость гостеприимный дом Фрэнсиса Кинга. Выйдя в заросший сад, расположенный за домом, мгновенно забываешь, что ты в самом центре каменной громады Лондона, и чувствуешь, словно попал в «какое-то заветное место в заповедной глухомани».

Талант Кинга-психолога — в удивительной способности разглядеть драматическое столкновение характеров в эпизоде, казалось бы, совершенно незначительном, например, в партии в теннис («Один-ноль»). Билл — разносторонний спортсмен, азартный и увлекающийся, как и положено «настоящему» англичанину. Но он записной неудачник, пожалуй, прежде всего потому, что неумоимо жаждет успеха и признания. Ироническое остранение автора открывает второй, глубинный уровень рассказа: «...для Билла проигрыш — очередное поражение в жизненной борьбе». В обществе, ориентирующем своих членов на успех любой ценой — а как известно, именно такова социо-психологическая установка, насаждаемая буржуазными идеологами,— крайне трудно остаться в стороне от всеобщей погони за призраком успеха. Биллу это не удалось, и он теперь обречен все время кого-то догонять, обыгрывать, с кем-то соревноваться и постоянно терпеть неудачи, ибо состязания, спорт ста-

новятся для него жизнью, а жизнь превращается в череду партий и матчей, в которых он должен одерживать победу. Так в забавной на первый взгляд истории проглядывает неумолимый и трагический лик судьбы.

Тот же лик обыденной трагедии открывается еще более обнаженно в рассказе «Хороший конец». По двум-трем сказанным автором как бы мельком фразам легко реконструировать всю прошлую жизнь пенсионера-бухгалтера: «Жена умерла так же неожиданно и некстати, как обычно встревала в разговор или влезала со своими просьбами и вопросами, когда он смотрел телевизор или слушал радио».

Социальность у Кинга обычно присутствует скрыто, но ее акценты всегда расставлены точно. Выйдя на пенсию, герой перебирается вместе с женой и дочерью в полуподвальную квартирку. Приходилось мне бывать и в таких квартирках — в них в любое время дня и года темно и сыро, и ничего удивительного, что дочь сбежала в «сырой коттедж» — там хотя бы светло. Самоубийство кажется старику единственным разумным выходом из той абсолютной пустоты, в которой влачит он свое существование. Но вдруг неожиданная встреча с хозяйкой кошки-верхолаза придает его жизни какой-то новый, пока еще непроясненный смысл. Он чувствует себя возрожденным, ему уже хочется гулять, видеть эту женщину, говорить с ней. Приходит понимание того, что он может еще быть кому-то нужен и полезен. Спокойная и прочная радость нисходит на него от простого, элементарного человеческого контакта. Если вдуматься, как это страшно! Самые элементарные, естественные эмоции он получил от случайного человека, их ему не могли дать собственные дети. Кинг суров к своему герою — слишком поздно открылась ему истина. Печальный финал исполнен скрытой символики: хотя нельзя победить смерть — можно преодолеть себя, свое одиночество, найти путь к другим людям.

Гуманизм Кинга в том, что даже в самых безнадежных ситуациях он оставляет своим персонажам возможность духовного и нравственного возрождения. Он с теми, кто силен не телом, а духом. С такими, как миссис Ньюман,

«сухонькая, сгорбленная, не особенно привлекательная старая женщина» («Воскресные газеты»). Тема этого рассказа — отчуждение и взаимонепонимание людей, живущих под одной крышей, членов одной семьи, — сугубо расхожая для западной литературы XX века. Но Кинг дает этой теме новый поворот. В немощной и никому не нужной миссис Ньюман есть осознанный протест против всеобщего отчуждения и взаимного безразличия. Она обладает большим запасом душевной энергии и чувства собственного достоинства. Пусть никто не оценил ее усилий, затраченных на приобретение, как выяснилось, никому не интересных воскресных газет, но она совершила поступок ради ближних своих. И именно поэтому вместо разочарования ощутила радость. Человек способен если не победить, то ежечасно преодолевать трагизм обыденности в том случае, когда совершает действия, лишенные эгоизма.

Драматические последствия взаимонепонимания — одна из тем рассказа «Великолепный старик». Давно прошедшая пик своей славы актриса Диана Браунтон завидует ночному портю Лесу. Она считает, что у него за душой только «здоровье, наивность, красота». Он для нее, одинокой, пристрастившейся к алкоголю, своеобразный идеал естественного человека. Во время ее ритуального чаепития от каждодневных, ничего не значащих бесед с Лесом ей становится спокойнее. Конечно, зависть ее бескорыстна. Так нередко завидуют людям если не ограниченным, то, во всяком случае, наивным, живущим без притязаний и претензий.

Действительно, Лес, как это и положено хорошо вышколенному слуге, доброжелателен и невозмутим. Он способен наслаждаться простыми радостями жизни — солнцем, морем, улыбкой случайного прохожего. Но он столь же не защищен от мира, сколь и Диана. Взаимоотношения персонажей с миром — второй план рассказа. Кинг строит его композицию по законам симметрии. Диана получает жестокий удар по самолюбию от бывшего мужа, а на Леса нападает группа озлобленных юнцов. Принято считать их действия проявлением немотивированного насилия, но писатель, не

навязывая, дает свой вариант объяснения. Майкл и его приятели — новая разновидность люмпенов, получивших определенный запас знаний. Не видящие для себя никаких реальных перспектив в обществе, презирующие всех и вся, с пренебрежением относящиеся к человеческой жизни, в том числе и к своей собственной, подобные молодые люди без всяких идейных ориентиров пополняли ряды как левых экстремистов, так и неофашистов разных сортов и оттенков. Рассказ этот опубликован в 1968 году. Так что Кинг, пожалуй, одним из первых написал о том, каким страшным и нелепым может оказаться протест молодежи. Протест? Безусловно. Хотя, быть может, Майкл и сам не понимает, отчего ему не нравится этот моложавый, подтянутый, крепкий старик. Конечно, ни о какой ревности и речи быть не может — для этого отношения Майкла с Анной-Марией просто несерьезны. В чем же дело? Лес привлекает Диану невозмутимостью, уравновешенностью, мужественностью — и этим же он бесит Майкла, не желающего мириться с тем, что рядом ходит человек, пропускающий мимо ушей все его вербальные попытки утвердиться в собственных глазах...

Писатель парадоксальным образом сближает жизненный опыт Дианы и Леса — при всей их противоположности, даже полярности результат оказывается однозначен: «...она заглянула ему в глаза, обычно столь ясные, полные бесхитростного оптимизма, и содрогнулась, встретив в них отражение знакомой тоски, отчаяния и ненависти к жизни».

И тут же еще один парадокс — вместо того чтобы ощутить хотя бы сочувствие к собрату по несчастью, Диана даже оставляет свою привычку ждать его перед сном с чашкой чая: он был интересен ей не сам по себе, как личность, а чисто функционально, как некое терапевтическое, успокаивающее средство. Так писатель вскрывает подспудный социальный смысл случившегося: в обществе одиночек, где каждый сам за себя, взаимонепонимание становится трудно-преодолимым законом жизни.

Сословные, национальные и психологические барьеры способна взорвать великая сила искусства. Певица Фроссо

(«Тризна») богата, популярна, эксцентрична, но всегда нестроена. Но она — Талант, Личность, и потому свет ее искусства объединяет людей даже после ее смерти. Смерть Фроссо внезапно пробуждает в ее невзрачном и меланхолическом сыне Мими незаурядный актерский дар перевоплощения. Он одновременно прекрасен и жалок в эпизоде, когда имитирует Фроссо. Это — рвущаяся изнутри душевная потребность. Он как бы выражает волю окружающих, так и не могущих примириться с утратой. Одно качество Фроссо писатель подчеркивает особо. При всей своей необязательности, склонности к анисовке, эгоцентричности, экстравагантности, переходящей в безвкусицу, Фроссо всегда была щедра и отзывчива. Она любила людей и всегда им помогала: «Фроссо ничего не стоило забыть про свидание, но не про просьбу».

Высокое искусство продолжает оставаться искусством, даже если его приют — ночное кабаре («Куклы»). Древнее, веками передаваемое от поколения к поколению искусство Бунраку служит одной из приманок для богатых заморских туристов. Писатель как будто хочет отделить своих героинь от общей массы потребителей туристской экзотики: «Барбара Джеймс и ее подруга Инид Уэдерби принадлежали к той категории культурных и добродушных пожилых американок, которые столь часто подвергаются неза заслуженным насмешкам в Европе». Конечно, они скорее всего «добродушны», но в то же время назойливы и бесцеремонны, ибо привыкли считать, что им все дозволено. Искренне восхищаясь искусством старого Кандзио Фудзиямы, они страшатся той непостижимой силы истинного творческого порыва, которая возрождает старого актера на сцене.

Кинг далек от идеализации своих персонажей, он демонстративно объективен даже к тем, кто воплощает для него непреходящую ценность искусства, способную бросить вызов смерти, — к Фроссо, к Кандзио Фудзияме. Еще более суров он к тем, кто, занимаясь искусством, силится соединить «гений и злодейство». Адриана Валера («Слепота»), знаменитая фигура литературной «мифологии» XX века, извест-

ный борец за освобождение «эксплуатируемых и поработанных женщин Боливии и других стран Латинской Америки», оказывается примитивным домашним тираном, мелкой скрягой, равнодушной «ко всему на свете, кроме своей оборотительной персоны, своих мыслей и воспоминаний».

Для понимания позиции самого Кинга, которую автор в большинстве случаев напрямую не обозначает, важное значение имеет рассказ «Коза». Заметим кстати, что только в двух рассказах — «Тризна» и «Коза» — повествование ведется от первого лица. Хотя однозначно отождествлять точку зрения рассказчика и автора вряд ли следует, все же, думается, нет сомнения в том, что для самого писателя неприемлем принцип, формулируемый кинорежиссером Окуно: «Иногда ради художественного эффекта можно делать противные вещи». Жестокость в человеке, творящем произведение искусства, для Кинга кощунственна. Снимавшиеся в фильме Окуно деревенские дети получают первый страшный урок жестокости. Но смысл этого образа и для рассказчика, и для автора много шире: миром кино в капиталистическом обществе правят те же законы, что и иными сферами производства, — безжалостная конкуренция, безудержная гонка за успехом, обещающим сверхприбыль.

Мастерство Кинга-психолога, быть может, ярче всего раскрывается в рассказе «Методом перевода». Это история любви, любви несостоявшейся, не вырвавшейся из пут сформированных поколениями стереотипов мышления и поведения. Англичане и японцы в чем-то похожи неписанным кодексом условностей, воспитанным с детства умением сдерживать свои эмоции. Сопоставление этих двух национальных характеров последовательно проводит в своей глубокой книге «Сакура и Дуб» Всеволод Овчинников. Душевное состояние Лиз, стремящейся вернуться в то далекое время, когда она чуть было всерьез не полюбила Осаму, передает единственно верно выбранное сравнение: «Точно разбила любимую чашку и, сжимая в ладонях иззубренные обломки, — не все, только те, что нашла, — пытается воскресить — даже не чашку, чашку вернуть невозможно — хотя бы память о

ней». Традиционное воспитание не позволяет Лиз поделиться с Осаму своими переживаниями. В свою очередь Осаму сегодня уже не тот юный студент, которому приходилось подрабатывать в английской семье. Он счастливый отец семейства. И прикосновение к чужому счастью заставляет Лиз еще более остро ощутить свое одиночество. Она, продукт европейской цивилизации, бессильна перед детьми другой, не менее древней культуры, которые «способны столько понять и сказать друг другу без слов».

Впрочем, изменились не только Осаму и Лиз. Сегодня высокоиндустриализованная Япония — могучий конкурент дряхлеющей Англии не только на мировых рынках, но и на собственном, английском. И об этом сказано в рассказе Кинга — теперь Япония для англичан очень дорогая страна.

Социально значимые мотивы возникают, несмотря на откровенную гротескность ситуации, и в рассказах «Аппетит» и «Голоса».

Молодая гречанка Мария, официантка лондонского ресторана («Аппетит»), помнит голодное детство на Кипре, никак не может смириться с бесконечным пиршеством окружающих. Ей отвратительны эти всегда жующие, чавкающие, причмокивающие физиономии. Этот парад чревоугодия становится в рассказе Кинга неожиданным символом бездуховного потребительства. Спротивляясь ему, отстаивая свое глубоко укорененное духовное начало, Мария платит самую высокую цену, но погибает непобежденной.

Прочитав рассказ «Голоса», можно предположить, что Кинг увлекся широко распространенными на Западе идеями передачи мыслей на расстоянии. Но ведь рассказ вовсе не об этом. Он о том, как безжалостно эксплуатируется в буржуазном обществе любой уникальный дар, как мгновенно он становится товаром, как в погоне за деньгами разрушаются естественные человеческие отношения. Кинг словно не задумывается, почему «дар» Перл пропал, а потом вновь появился. Да ему не это важно. «Дар» — некое фантастическое допущение, призванное обнажить действительные пороки и трагедии окружающего мира.

Кинг так часто пишет о человеческом взаимонепонимании и одиночестве, что невольно закрадывается мысль: а верит ли сам писатель в возможность искренних, основанных на симпатии, духовной близости человеческих отношений?

Кинг верит в то, что между самыми разными и непохожими людьми возможен, даже необходим контакт, основанный на взаимном интересе, внимании и доверии, нужна привязанность, вырастающая в потребность людей друг к другу.

Судьбе было угодно свести в далеко не фешенебельном лондонском доме медсестру из Вест-Индии Роз и почти девностолетнюю русскую эмигрантку миссис Симмонс («Старая дама, проходившая мимо»). Трудно представить себе людей с более противоположным культурным и жизненным опытом! Но они начинают дружить...

Основой этой удивительной дружбы становится необыкновенная открытость и доброта темнокожей Роз — «такой у нее был характер — она никогда не могла отказать людям в помощи, деньгах, участии или просто в каких-то сведениях». Живущая с сынишкой Кевином почти впроголодь, Роз не только добра и отзывчива, она чистюля, ненавидящая беспорядок и грязь, царящие, в частности, в квартире миссис Симмонс. Образ Роз, один из самых положительных образов Кинга, создан как будто в полемике с теми, кто и сегодня на Британских островах провозглашает идею «второсортности» людей с не белым цветом кожи.

Лишь беглыми штрихами набросана прошлая жизнь миссис Симмонс, но и ее, казалось бы успешной, карьеры коснулась трагедия эмиграции. Нетрудно предположить: останься замечательная балерина на родине — она была бы окружена почестями не только в день похорон...

Порой печальные новеллы Кинга повествуют о трагизме человеческого одиночества. Найти выход к другим людям удастся не всем. Такова действительность, и писатель-реалист нигде ее не приукрашивает. Только тем суждено познать счастье подлинного человеческого существования, кто способен услышать в обыденном, повседневном шуме уникальный, неповторимый голос другого человека...

Георгий Анджапаридзе

Дом

— Мы с Элизабет делим кров уже более четверти века,— говорила Элинор. Имелось в виду, что в названный отрезок времени они делили расходы по дому, хотя Элизабет жила под этим кровом только наездами.

— Почему ты не положишь конец этому соглашению?— спрашивали Элизабет друзья, которые редко были их общими друзьями, и она обыкновенно отвечала, что очень привязана к Элинор, что, по ней, лучше оставлять свое добро в доме, чем сдавать куда-то на хранение, и что однажды многолетнему бродяжничеству придет конец и ей захочется осесть.

Истинной же причиной были в равной степени ее доброта и слабохарактерность: она не огорчала людей отчасти из-за того, что не любила доставлять огорчения, отчасти из страха перед возмездием. И поэтому где бы она ни находилась — в Таосе, в Таормине, в Дубровнике или в Дели,— она раз в месяц садилась за отчет, который аккуратно высылала ей Элинор, и потом выписывала чек, сложив налоги, ремонт, коммунальные услуги и жалованье очередному «сокровищу», о котором не сегодня-завтра придется сказать — «выброшенные деньги».

Обе женщины были до такой степени несхожи, что уму непостижимо, как они вообще сошлись и уж тем более уживались эти четверть века, которыми так гордилась Элинор. Объясняли обычно тем, что, оставшись сиротой и намучившись у сбагривавших ее с рук на руки родственников, Элизабет обрела в Элинор, старше ее на несколько лет, как бы вторую мать; и в Элинор действительно пропадала мать с хорошей жандармской хваткой — таких много, и дети чем старше, тем неохотнее возвращаются к ним.

— Элизабет гонит за границу ее живопись,— обыкновенно объясняла Элинор. Но трудно было понять, почему нуж-

но забираться на край света, если и на Сент-Джонс-Вуде можно прекрасно делать эти блеклые акварели — куст в горшке, фрукты в вазе, фасады домов, церкви.

Проходило два-три года, и, вернувшись, Элизабет обнаруживала, что Элино́р перетянула ее софу на редкость безобразным ситцем либо переклеила ее комнату на редкость безобразными обоями.

— Я понимаю, это *не совсем* в твоём вкусе. Но ты могла заключить из моего отчета, что тот человек уступил нам почти даром.

Всю жизнь к Элино́р липли человечки, которые, подобно «сокровищам», обратившимся в «выброшенные деньги», из «замечательной находки» превращались потом в «проходимцев» и «мошенников».

— Ты, верно, не нарадуешься, что вернулась, — выслушивала Элизабет от друзей Элино́р (ее-то друзья держались иного мнения), и она соглашалась: да, это замечательно — возвращаться. Но проходило пять-шесть недель, и Элино́р оповещала всех и каждого: «Элизабет опять снимается с места — вот так-то», устраивались скромные проводы, и на очередные два-три года Элизабет пропадала.

Но в этот раз она отсутствовала неполных пять месяцев: домашний врач велел возвращаться — и пришлось вернуться.

— Очень характерно для этой особы: уйти в тот самый момент, когда она позарез нужна. После всего, что мы для нее сделали. Хлопотали за ее сына, поручались за него, саму отпустили отдохнуть в Корнуолл.

Эта поездка-вознаграждение была личной инициативой Элино́р, но в ежемесячном отчете она, естественно, фигурировала в графе их общих расходов.

— Все они на один лад. Ни капли благодарности, никакой ответственности.

С румянцем на щеках, седовласая Элино́р покойно сложила поверх одеяла большие умелые руки — никак не скажешь по ней, что всего на прошлой неделе она, по отзыву

врача, «дышала на ладан». Она много лет выхаживала глухого сына и, наверное, потому всегда кричала, словно на митинге, и поразительно, что даже сейчас ее голос не утратил своей звонкой силы.

— Завтра я схожу в агентство,— сказала Элизабет,— хотя никакой необходимости в этом нет. Первое время я вполне справлюсь собственными силами.

Но Элинор и мысли не допускала, что Элизабет в состоянии справиться с домашней работой, а тем более с готовкой.

— Я приготовила тушеные бычьи хвосты. После завтрака встала и приготовила. Как только эта горе-помощница ушла.

— Зачем? Ведь Адамс разрешил тебе вставать только в самом крайнем случае.

— Дорогая, ты у меня не одна. Есть еще мисс Сааринен и Боб Грэм. О них тоже надо подумать.

— Я бы о них и подумала.

— Ты же не любишь готовить.

На самом деле Элизабет обожала готовить и готовила лучше Элинор, но старшая подруга десятилетиями внушала всем и каждому: «Элинор не любит готовить», и поэтому в доме на Сент-Джонс-Вуд Элизабет допускали только к мойке. Мытье посуды Элинор охотно ей доверяла.

— Ничего страшного, если они пообедают в городе.

— Тогда мы обязаны возместить им расходы. В конце концов, они определялись на полное содержание.

— А какая нам, собственно, нужда в этих жильцах, Элинор?

Жильцами были филолог-финка, стажировавшаяся в педагогическом центре, и дальний родственник Элинор, совмещавший писание романа с работой в галантерейном магазине.

— Нужды как таковой нет,— ответила Элинор.— Я вижу в этом своего рода долг. В конце концов, любая другая квартира в центре им не по карману, а у нас такой большой дом, и жить в нем, по существу, некому.

Получая с жильцов двадцать пять фунтов в неделю за

стол и квартиру, Элино́р люби́ла подде́рживать ми́ф о сво́ей душевнóй доброте, по котóрой то́лько и пу́стила жи́льцов.

— Но ты же больна,— сказа́ла Элизабет.— Могу́т они по́нять?

— А-а, че́рез па́ру днóй я бу́ду на но́гах. После́ эти́х встря́сок я бы́стро о́правляю́сь, ты же зна́ешь.

На э́тот раз, одна́ко, та́кой встря́ской бу́л си́льнейши́й се́рдечный при́ступ.

— Не́т, Элино́р, Ада́мс го́ворит, что́бы ты се́бя бе́регла. И не па́ру днóй, а го́раздо до́льше.

— Ада́мс изве́стный па́никер... До́рогая, ты не бу́дешь в прете́нзии, что́ Боб при́способи́л для за́нятий твою́ го́стиную? Ве́дь ты мо́жешь по́льзова́ться мо́ей.

Конече́но, Элизабет бу́ла в прете́нзии, те́м бо́лее что́ обо́шлись бе́з ее ра́зреше́ния, но, ща́дя больну́ю Элино́р, реши́ла не во́зража́ть.

— Ни́чего,— сказа́ла она.— Пу́сть за́нимает́ся.

— У него́ оче́нь те́сная спа́льня. Для ра́боты ему́ на́до где-то ра́сположи́ться. За го́стиную, кста́ти, он при́плачи́вает. Я на́стояла.

Элизабет ко́льнуло недоуме́ние: е́сли он при́плачи́вает за го́стиную, котóрая прина́длежит ей, а не Элино́р, то по́чему она́ не ви́дит эти́х де́нег? И снóва она́ сня́ла ра́здраже́ние как не́что поро́чное и поро́чащее ее́.

— Ты вы́гляди́шь лу́чше, че́м я сме́ла на́дея́ться.

— Да я пре́красно се́бя чу́вствую́. Не во́зьму в то́лк, заче́м иди́от Ада́мс ра́стревожи́л те́бя сво́им о́тче́том.

— Я все ра́вно во́звраща́лась,— со́врала Элизабет.— Гре́ция мне по́днадо́ела.

Вы́йдя от Элино́р, котóрой не те́рпелось ра́зобе́реть ка́кую-то ко́рреспонде́нцию, Элизабет реши́ла до при́хода жи́льцов обо́йти до́м. Не́сколько не́дель на́зад Элино́р пи́сала ей, что́ «со́верше́нно изуми́тельный че́ловече́к» — ка́кой-то бы́вший мо́ряк — по́краси́л ле́стницу́ све́рху до́низу; с тя́желым се́рдце́м ра́згляды́вала те́перь Элизабет а́ляповато, с глазу́рными на́плыва́ми за́краше́нные пе́рила, бе́лые брызги́ на кра́ю бу́-

харского ковра, доставшегося от дяди, вмятину — понятно, от стремянки — на моррисовских обоях. Это были единственные обои в доме, которые радовали Элизабет, она сама присутствовала при их покупке и в кои-то веки воспротивилась желанию Элинор взять «что-нибудь не такое мрачное — что-нибудь веселенькое и теплое». Ликвидировать урон, причиненный этим человеком, как водится, призовут другого человека; так они и будут сменять один другого, эти человечки, *ad infinitum**. Элизабет вздохнула, подтянув острый подбородок к горлу, перехваченному ниткой жемчуга,— давнишним подарком Элинор, с которым она не расставалась.

В мансарде просторного эдвардианского дома жила мисс Сааринен. Как это в духе Элинор: мужчине, будь он даже зеленый юнец и дурак (а родственник был и то и другое), отдать предпочтение перед женщиной, будь она даже немолодой, достойной дамой. Элизабет была незнакома с мисс Сааринен, но, подумалось ей, обитатель этой опрятной, свежей комнаты с низким потолком, мебелью светлого дерева и рефлектором тоже должен быть опрятен и свеж. Наверняка сама мисс Сааринен связала светло-голубой жакет, висевший на спинке стула, и наверняка Элинор внушила ей, как внушала всем своим квартирантам, что в английских пансионах принято убирать за собой постель. На туалетном столике стояла фотография молодого морского офицера с широким прямоугольным лицом и неровными зубами. Сын? Не похоже. Любимый человек? Тоже не похоже. Любимый племянник, решила Элизабет. Она выдвинула ящик и бросила взгляд на стопку гигиенических пакетов. Странно, ей почему-то показалось, что мисс Сааринен в том возрасте, когда этих проблем уже нет. Застыдившись, она толкнула ящик обратно.

В спальне молодого квартиранта, смотревшей на юг, с двумя постелями и привилегированным центральным отоплением, стоял запах табака, застарелого пота и чего-то резкого, дурманяще-приторного. Кровать была не убрана, поскольку

* до бесконечности (лат.).— Здесь и далее прим. переводчиков.

приводить ее в порядок наверняка было обязанностью пропавшего «сокровища», и жилец предоставил эту заботу ее преемнице; пижамные брюки — на полу, пижамная куртка брошена на часы (французская работа, девятнадцатый век, золоченая бронза), непонятно почему оказавшиеся на этом столике, — их место на каминной полке в гостиной Элизабет. И везде окурки: в чашке, стоявшей на полу у постели, в камине, в пустой мыльнице и даже на подоконнике. Элизабет подумала, что хорошо бы навести порядок в комнате, пока Элинор не пришла в голову безумная мысль сделать это самой. Но она устала после перелета, устала от невыносимо трудной душевной перестройки, на которую обрекала себя, переступая порог дома на Сент-Джонс-Вуде.

Гостиная — ее гостиная — не уступала спальне: такой же кавардак. У миниатюрной викторианской софы с резной спинкой куда-то задевалось колесико, и кто-то — скорее всего этот молодчик — сунул под ножку ее «Оксфордский словарь цитат». И здесь окурки — в дорогой ее сердцу бонбоньерке северского фарфора торчали три окурка. Все-таки безобразия, в приливе раздражения подумала Элизабет, что Элинор не следит, как обращаются с чужими вещами, и тут же отходчиво напомнила себе, что «вещи» ни в малейшей степени не волнуют Элинор: ей все одно — что северский фарфор, что мейсенский и какой фаянс — «Доултон» он или «Денби».

С ее стола молодчик убрал решительно все: доставшиеся от няни серебряные часики в виде церкви, помнившую ее мать заляпанную серебряную чернильницу, уродливо вывернувшие шею бронзовые подсвечники, которые она вывезла из Бенареса; он убрал со стола даже промокательную бумагу, лампу и подносик с перьями. Все это было составлено на полу, а на столе водрузилась машинка, разлеглись листы бумаги. Она заглянула в запровленную страницу и озадаченно прочла: «В этом королевстве у моря я был дитя, и она была дитя. Она была древнее с-с-скал».

На душе у Элизабет было муторно, когда она покинула эту свалку унаследованного и благоприобретенного в поезд-

ках добра. Все-таки безобразия, подумала она об Элиноре. И ведь не первый случай. Это моя комната. С какой стати, не спросив, кого-то пускать в нее? Но ей всегда претит мериться амбициями, да и Элинора сейчас не в том виде, чтобы заводить препирательства, и Элизабет сочла за лучшее «смириться». К смирению у нее вообще был талант.

За границей Элизабет вспоминала о доме с нежным чувством — в конце концов, другого своего дома у нее никогда не было, но, обходя его сейчас, испытывала непонятную подавленность и отчаяние. Казалось, ничто здесь ей уже не принадлежит, хотя на самом деле все сколько-нибудь ценное именно ей и принадлежало. И как скукоживается брошенный в костер вьюнок, свернулись, опалившись, духовные нити, привязывавшие ее к северской бонбоньерке, в которую молодой человек понатыкал свои окурки, к викторианской софе с резной спинкой, к столу и всему, что на нем стояло. Как-то сразу она стала чужой в этом чуждом окружении.

Безотчетный страх овладел ею в гостиной Элиноры; она толкнула высокие стеклянные двери и из душного дома вышла в душистый английский сад. Снова и снова вдыхала она полной грудью запах флоксов с протянувшегося вдоль ограды цветочного бордюра, поднимая к седеющей голове руку, плотно сбита женщина средних лет с красивым бледным овальным лицом и близорукими глазами за стеклами в золотой оправе. Когда сразу после войны они впервые приехали посмотреть загаженный, полуразвалившийся дом с наглухо заколоченными окнами, с пятнами сырости и грязными словами на драных обоях, именно сад прельстил Элизабет, густо-зеленый таинственный шептун. Со всех сторон подступали разросшиеся кусты, между ними мотался конский щавель, лохматилась коровья петрушка, протягивал цепкие щупальца шиповник, увитый вьюном. И словно это был не Лондон и не садик позади дома, а какое-то заветное место в заповедной глухомани. «Теперь у нас одна забота: привести все это в порядок», — объявила тогда Элинора, и ее слова болью отозвались в сердце Элизабет. Долгие месяцы Элинора с подмогой (не избежала этой участи

и Элизабет) корчевала, жгла, копала, сажала, и далеко позади то время, когда былую дикость сменили головоломно разбросанные цветочные бордюры, розарии, выложенные треугольником, и шарахающиеся из стороны в сторону мощные дорожки.

Но большее всего задело Элизабет то, что в самом глухом углу сада порушили покосившуюся круглую беседку. Раньше в доме жил писатель, теперь совершенно позабытый, а в свое время известный, — он-то и соорудил для работы этот карусельный домик. Крыша его прогнила, внутри свили гнезда птицы, и требовалось немалое усилие, чтобы в заржавевшей колее развернуть ветхую постройку. Элизабет и сама не знала, чем приворожила ее эта развалюха.

— Надо, надо его починить, — твердила она, а Элинор отвечала:

— Это стоит уйму денег, дорогая. Лучше подождать.

Потом Элизабет уехала, через несколько месяцев вернулась, и Элинор сказала:

— Пошли, я приготовила тебе сюрприз.

Она повела Элизабет в сад, и там вместо круглой дощатой беседки крепко стоял на земле куб из красного кирпича, свинцово поблескивая стеклами.

Элизабет была ошарашена. Но, овладев собой, она вымолвила:

— Какая прелесть, Элинор!

— А сколько пользы! Сзади я сделала навесик для косы и садового инвентаря. Я знала, что тебе понравится.

В новой беседке Элизабет была считанные разы — когда Элинор устраивала там чаепитие. Только бы Элинор не прознала о ее неприязни к этому месту, беспокоилась Элизабет. Скорее всего, та ничего не заметила, поскольку к чужим чувствам была глуха.

Сейчас Элизабет дошла до беседки, прислонилась спиной к двери и со стороны оглядела дом. По занавеске в окне Элинор прошла тень. Что-то, значит, ей понадобилось, и она поднялась с постели. Надо пойти и узнать, но с удивившей ее самой жестокостью она сказала себе: «Это ее дело — раз она

на старости лет, как ребенок, не слушается доктора, пусть потом пеняет на себя!»

Она тронула коротко стриженные седеющие волосы, отвела прядь со щеки. Вдруг Элино́р умрет? Ее пронзила эта мысль. Возможная вещь, судя по тону письма от доктора: «Прогноз на будущее весьма малоутешителен... поврежденный клапан... крайне необходимо, чтобы вы...» Когда в гостиничной спальне, смотревшей окнами на гору Ликабет, она читала эти охлажденные, взвешенные слова, на нее вдруг накатила дурнота, и она вытянулась в постели, зарывшись лицом в подушку, зажав в руке письмо. Потом выпрыгнула из постели, выбежала на ослепительное полуденное солнце и заказала билет на ближайший самолет в Англию. И всю дорогу до дома кусок не шел ей в горло.

Подпирая сейчас спиной дверь этого коренастого уroda, она вдруг осознала, что может спокойно, вчуже реагировать на мысль «вдруг Элино́р умрет», словно не с нею был тот приступ страха и отчаяния. Элино́р всегда казалась такой несгибаемой, она уверенно двигалась, уверенно думала, у нее такой решительный, громкий голос. С ней трудно связать мысль о смерти.

Снова по занавеске прошла тень. Элизабет отлепилась от двери и заставила себя пойти в дом и узнать, что делает ее приятельница.

Ужин в обществе молчаливой мисс Сааринен и болтливового Боба был и прошел.

— Дорогая, может, ты все-таки постарайся заснуть?

Элино́р сидела в постели, подоткнувшись подушками, вокруг были рассыпаны письма. Очки сползли на самый кончик длинного костлявого носа; на лбу, словно паутина, натянулась серая сетка для волос.

— Сначала разберусь с этим завалом,— ответила она.

— Неужели нельзя отложить до завтра? Я бы тебе помогла. Ты бы диктовала, а я печатала.

— Я скверно диктую.— Почему-то она не добавила, что Элизабет скверно печатает.— Ничего, дорогая, я превосход-

но себя чувствую. Если ты действительно хочешь помочь, то сделай мне чашку шоколада.

— Элинор, умоляю, прекрати.

Но та уже держала в руке письмо и перечитывала его, беззвучно шевеля губами. Потом поверх очков взглянула на Элизабет:

— Как бычьи хвосты?

— Объединение,— соврала Элизабет. Сползшее с костей мясо лежало клейким комком, подливка застыла желтой жирной каймой.

— Временами мне кажется, что во всем свете я одна умею как надо приготовить бычьи хвосты. Фокус в том, сколько их тушить. Нужно не меньше шести часов... Как ты нашла мисс Сааринен?

— В каком смысле?

— Понравилась она тебе?

— Вполне. Она хотела зайти к тебе, но я ее приход отменила.

— Зачем ты это сделала? Ты ведешь себя так, словно я слегла всерьез. А мне как раз хотелось поболтать с ней.

— Она, по-моему, не очень для этого подходит.

— А как тебе Боб?

— У этого язык без костей.

— Славный мальчик. Кстати, я еще не видела его чека. За квартиру. Может, ты напомнишь мне завтра?

Она отбросила в сторону письмо, взяла другое, но читать не стала, а снова поверх очков взглянула на подругу.

— Как замечательно, что ты опять с нами, дорогая!— сказала она.

— *Замечательно.*

— Надеюсь, в этот раз ты не слишком рано снимешься с места? Дай нам хоть разглядеть тебя.

— В этот раз я застряну надолго,— сказала Элизабет.— Я тебе еще надоем.

В половине одиннадцатого Элизабет снова зашла к Элинор.

— Все, Элино́р, хватит! Я тебя умоляю!

— Да ведь только начало одиннадцатого.

С несвойственной ей решимостью Элизабет стала собирать разбросанные на кровати письма, газеты, журналы, книги.

— Дорогая, ты мне все спутаешь! Элизабет!

— Завтра разберемся.

Элино́р вздохнула.

— Никакого соображения. Чего ради я наводила порядок, если ты опять смешала все в одну кучу?

— Сейчас я принесу тебе таз. Даже не спорь. Адамс категорически настаивал, чтобы ты не вставала умываться. Это совершенно ни к чему, раз я здесь. Я принесу тебе все, что ты скажешь.

Элизабет засуетилась, Элино́р громким голосом подавала команды:

— Да нет же! Другое мыло! Не выжимай столько пасты: нужно совсем чуть-чуть... Если бы поставила таз на пол, тебе было бы проще лить...

Элино́р всегда умела поставить Элизабет в такое положение, что та чувствовала себя полной бестолочью.

Когда, вымыв подруге руки, она насухо вытерла их, обычно такие сильные, а теперь вяло лежавшие в ее ладонях, вдруг накатило теплое чувство, отхлынувшее в сад. У Элизабет отлегло от сердца: она боялась, что ее привязанность к Элино́р умерла таинственно и сразу. Обручальное кольцо (муж Элино́р погиб в войну, несколько недель спустя после свадьбы) сидело на пальце туго — добрый знак: какая у нее ни опасная болезнь, но, слава богу, не похудела.

— Поднять такую суматоху! — пробормотала Элино́р. — Зачем?

Покончив с умыванием, Элизабет спросила:

— Тебе ничего не нужно на ночь?

Дернула к себе подушку, стала ее взбивать. Было диковато, что теперь она ухаживает за Элино́р, что они поменялись ролями, с непривычки она терялась.

— Спасибо, дорогая, у меня все есть.

— Я оставляю тебе колокольчик. Позвони, если будет нужно. Я сплю чутко, ты знаешь, я услышу.

— Мне ничего не понадобится.

— Дать тебе таблетку?

— Упаси бог!

Элино́р решительно осуждала «наркотики».

— Тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Элизабет коснулась губами ее лба. Она терпеть не могла этих нежностей, и на заре их дружбы ее всю передергивало, когда Элино́р трогала ее рукой или целовала или ей самой случалось тронуть ее или поцеловать в ответ. Правда, сейчас она относилась ко всему этому легче.

— Тебе надо выспаться.

— Это тебе надо выспаться. Перенести такой долгий перелет!

Элизабет предупредила Элино́р, что завтрак принесет ей в постель в девять утра, когда отправит мисс Сааринен в институт, а молодого человека — в его галантерею на Кингз-роуд. Мисс Сааринен ушла ровно в двадцать минут девятого, но недоросль в голубом шелковом халате не был расположен спешить: с сигаретой в углу обмякших губ он болтал с Элизабет, пока та мыла посуду. Он съел яичницу из трех яиц и поджаренную ветчину.

— Элино́р действительно больна?— спросил он, не понижая голоса.

— Боюсь, что очень,— глухо ответила ему Элизабет.— Она даже не подозревает этого.

— А вы не думаете, что врач перестраховывается? Помоему, с ней ничего страшного.

— Он хороший врач,— сказала Элизабет, желая скорее отделаться от собеседника, и стала собирать на поднос завтрак для Элино́р.

Молодой человек ткнул сигарету в грязную тарелку у мойки и, тихо насвистывая, покинул кухню, прихватив с собой «Таймс», отложенный Элизабет для Элино́р. Элизабет устре-

милась за ним следом, но тот уже заперся в уборной.

Элинор не ответила на стук, и, с трудом удерживая поднос на поднятом колене, Элизабет свободной рукой постучала еще раз. Потом покрутила ручку и носком осторожно толкнула дверь.

— Элинор!

Она с грохотом опустила на туалетный столик поднос, сбросив на пол щетку, и кинулась к кровати, где, упав грудью на постельный столик, горбатилась Элинор. Шторы были опущены, горел ночник.

На покрывале разбросаны листы бумаги, пол усеян бумагой, и под ногами суетившейся Элизабет она шелестела, словно потревоженные жуки.

Элизабет ухватила Элинор под мышки и потянула ее назад, на подушку. Еще не заглянув в распухшее багровое лицо, только чувствуя теплое, но уже неподатливое тело под тонкой ночной рубашкой, она поняла, что подруга умерла.

— Элинор!— исторгла она полустон, полурыдание, и отпущенное тело снова ткнулось головой в постельный столик.

Элизабет сжала пальцами виски и горестно замотала головой. Но почти всякую смерть, даже самую горькую и самую нежданную, караулит живчик-червь, и сейчас он встрепенулся в потаенной глубине ее существа и зашептал: «Свободна! Ты свободна! Кончилось твое рабство».

Снова она попыталась осторожно поднять Элинор, на этот раз справилась, пересилив страх перед коченеющим телом. Голова Элинор лежала теперь на подушке, лицо казалось слегка изменившимся не только из-за отечности и этого ужасного цвета, но еще потому, что на длинном горбатом носу не было очков.

Господи, да чем же она занималась? Что это за бумаги?

Элизабет взяла один лист, другой, вгляделась.

Это были счета за прошлый месяц; на столике, под которым ручка оставила на пододеяльнике пятно чернил, лежал начатый реестр; крупным, разборчивым, образцово-детским почерком Элинор там значилось:

2 июня

Жалованье миссис Тертон — 8 фунтов

Мытье окон — 1 фунт 50

3 июня

Лампочка в комнату мисс Сааринен — 0.35

4 июня

Утренний чай — 12 фунтов

Утренний чай! Дальше Элизабет не стала читать.

Гнев затопил все обуревавшие ее чувства — ужас, потрясение, скорбь — и вылился в слова: «Какого черта я должна платить половину за ее утренний чай? В этом доме я ни разу не пила утреннего чая».

Один-ноль

Он был в парусиновых туфлях, ставших кирпичными от теннисных кортов; на одной, где лопнул шнурок, торчал нескладный узел. Мускулистые руки и ноги покрывали густые волосы почти одного цвета с туфлями. Рубашка была расстегнута, и на груди тоже лохматилась мокрая от пота шерсть — Билл уже давно сидел на жаре в этом уголке сада. Защитного цвета шорты с пятнами машинного масла — в это воскресное утро ему приспичило возиться с автомобилем — туго обтягивали выпуклость между ног. Он сидел в шезлонге с иллюстрированным приложением к газете и щурился, всосав нижнюю губу под такие белые и ровные зубы, что при первом знакомстве — он тогда был студентом на медицинском, а Анна медсестрой — она в шутку спросила, не вставные ли они. Нос был сломан, но не в матче по регби, как все думали, а еще в школе, когда он свалился с велосипеда.

Год назад, увидав, как он развалился на солнышке, вольно раскинув крепкие ноги, она бы подошла, взъерошила его лысеющую голову, погладила по щеке, а потом и по груди. Но теперь, остановясь в нескольких метрах от него, лишь заметила:

— Ты не хочешь переодеться?

— Переодеться? А зачем?— Голос у Билла всегда был хрипловатый, как после простуды.

— Уже без двадцати час. Он вот-вот подъедет.

— Ну и что?

— Не станешь же ты принимать его в таком виде. В грязных шортах и теннисных туфлях.

— А почему бы и нет? Сегодня как-никак воскресенье.

— Он наверняка будет в костюме.

— Не сомневаюсь. Но в костюме я не полезу ни за какие коврижки.

Нахмурившись, она потянулась к кусту, чтобы оторвать засохшую розу, и вскрикнула, когда шип вонзился в подушечку большого пальца.

— Что с тобой?

— Укололась об эту чертову розу.

Он бросил газету и встал.

— Дай посмотрю.

— А что тут смотреть?— Анна пососала палец. Длинные светлые волосы были перехвачены у затылка синей лентой; она выглядела хрупкой и совсем юной в голубеньком ситцевом платье.

— И зачем только он приезжает? Тоска!

— Ему давно хотелось посмотреть наш дом. Да и тебе он может оказаться полезным.

— Вряд ли. Он не очень-то великодушен к подчиненным. Разрешает нам возиться со своими бесплатными пациентами, и все. Нет, не великодушен. Оно и понятно,— Билл снова развалился в шезлонге,— кому нравится, когда в дверь барабанит следующее поколение?

— Ему нечего бояться. Во всяком случае, пока.

— Нет, дорогая, он явно сдает. Все об этом знают. Медленно, но сдает. Особенно после смерти жены, после инфаркта, после истории с сыном.— Билл перечислил эти беды с тихим злорадством.— Будь он поумнее, ушел бы в отставку. Тем более что в кубышке целое состояние.

— В отставку?— Все еще посасывая палец, хотя кровь

давно не шла, Анна улеглась на одеяло, расстеленное в траве у шезлонга.— А на кой черт ему отставка? Ему еще жить и жить.

— Жить и жить?

— Лет десять по крайней мере. Шестьдесят два — еще не возраст.

— Вообще-то он, видно, думает поскрипеть, пока ему не пожалуют за заслуги дворянское звание. Только вряд ли!

— Поживем — увидим.

— Ну разве что примут в расчет эти зарубежные вояжи.— Билл поднял руку и лениво почесал под мышкой.— Роговыми оболочками, разными там пересадками или катарактами у нас никого не удивишь. Но в африканских джунглях...

— Что-то он опаздывает.

— Заблудился. Или забыл про нас.— Билл глянул на часы.

— Кто-кто, а ты бы не расстроился.— Анна засмеялась.

— Так спокойнее. Если честно, я против него ничего не имею. Мы вполне ладим. Правда, держится он свысока, но на это мне плевать.— Нахмурившись, он покрутил левым плечом.

— Болит?

— Хм. Видно, растянул, когда нырнул ласточкой.— Он начал ладонью его массировать; впечатлительным пациентам его руки казались слишком большими и неуклюжими для хирурга.— Разговор об Эфиопии он больше не заводил?

— С прошлой недели ни слова. Сказал, чтобы я подумала.

— Ну куда ты к черту поедешь? Незачем тебе.

— Все-таки смена обстановки,— спокойно возразила Анна.— А другого случая увидеть Эфиопию, может, и не будет.

— Ему что, не из кого выбрать операционную сестру? Пусть берет Коннорс. Эта баба любого мужика стоит.

— Терпеть ее не может.

— А я тут как управлюсь, пока ты будешь порхать по заграницам?

— Всего-то пять недель. Мама обещала приехать и за-

няться хозяйством. Ты ведь уезжал в турне со своими регбистами почти на столько же... Нет, стоит прикинуть, обсудить.

Она встала, подошла к нему сзади и, наклонившись, прижалась к влажной, шершавой щеке. Крепкий запах пота, который раньше, особенно после крикета или регби, волновал ее, теперь вызвал лишь отвращение. Почему он вечно потеет? Добро бы *дело делал*, а то просто сидит на солнце, и все.

— Вот станешь известным консультантом, будешь сам возить меня.

— Только бы дожждаться.

Хотя на эту тему они никогда не говорили — избегали ее по молчаливому уговору, — Анна знала и что ему уже никогда не стать известным консультантом, и что он сам об этом знает, и теперь ее вдруг пронзила острая боль. Она крепко обняла мужа.

— Ты добьешься, — сказала она. — Обязательно добьешься. Подумай, сколько людей добиваются.

За кустами роз и неровной живой изгородкой из бирючины раздалось урчание автомобиля.

— Судя по всему, подкатила его светлость.

— Держится, как у постели умирающего. Хоть с нами бы оставил свой врачебный такт.

Обед кончился, и Морис по телефону в прихожей справлялся о своей частной пациентке — жене министра, которой день назад удалили катаракту.

— Интересоваться обычным больным из общей палаты ему бы и в голову не пришло.

— Он, кстати, внимателен ко всем. Каждого называет по имени.

— Не будь наивной. Просто игра. Ничего за этим не стоит.

Насупившись, Анна заваривала в чашках растворимый кофе. Купить в зернах она забыла, и ей не хотелось, чтобы Морис почувствовал разницу. Обед в целом удался, если, конечно, ее не обманул тот самый «врачебный такт» Мориса, по поводу которого ворчал Билл. Гость очень расхваливал

lasagnie* — «Лучше мне даже в Италии не попадалась!», затем, посетовав на «свое ужасное брюшко», попросил добавки соq au vin**. Никакого брюшка Анна у него не заметила. Морис был прям, строен, ни грамма лишнего веса — суховатый, слегка морщинистый, как все пожилые люди, когда они строго следят за едой. За обедом он с усмешкой, но без желчи рассказывал о знаменитых коллегах, знаменитых пациентах и о своей жизни в пустыне Египта во время войны.

А вот в словах мужа Анне часто слышалась нарочитая фальшь, о себе же, о ней и обо всем, что их касалось, он говорил со слегка вызывающим самоуничижением. Когда Морис сказал, что собирается во время отпуска поехать на машине в Турцию, Билл заметил: «Ну, такое путешествие по карману лишь тем, кто у кормушки. Нам, простым смертным, боюсь, придется довольствоваться дешевой экскурсией на Мальту». Чуть позже Морис похвалил новую помощницу сестры-хозяйки, и Билл снова возразил: «Конечно, для знаменитостей вроде вас она готова лезть из кожи вон. С другими же куда менее услужлива. Для вашего покорного слуги она не перетрудится, только от сих и до сих». Человек тонкий и пронизательный, Морис не мог не уловить зависти и враждебности в подобных замечаниях, но, видно, решил не обращать внимания. Анне даже показалось, что он по-своему обхаживает Билла, то искусно и ненавязчиво похваливая его, то спрашивая совета, то сожалея, что молодого коллегу недостаточно быстро продвигают по службе.

Морис вернулся из прихожей.

— Кажется, все в порядке. Только вот жалуется на плохую еду. Я было решил, пусть Робинсон расскажет ей, как вкусно вы меня накормили, но сдержался. К чему бессмысленная жестокость? Спасибо за обед, моя дорогая.

Он протянул руки за кофе, и Анна не в первый раз залобовалась, какие они красивые. Восковато-белые, гибкие, с ухоженными розовыми ногтями.

* Особый вид лапши (итал.).

** Петух в вине (франц.).

— Не возражаете, если я сниму пиджак?

— Конечно нет, какие могут быть возражения, вон Билл сидит в грязных шортах.

— Морис, я уверен, согласится со мной, что в наши дни церемонии с *endimanché** ни к чему. Выходные костюмы, хождение в церковь — все это в прошлом.

Морис улыбнулся и снял серый с голубоватым отливом пиджак, потом поправил манжеты и потрогал массивные золотые запонки, словно проверяя, на месте ли они. Биллу он ничего не ответил.

— Везло вам последнее время с покупками?— спросила Анна, которая часто сталкивалась с Морисом на местных аукционах.

— Дайте-ка сообразить... Да, пожалуй.

Он стал рассказывать, как случайно приобрел в загородном доме около Льюиса неизвестный рисунок Бонингтона, а Билл тем временем все глубже утопал в кресле и все дальше вытягивал голые ноги. Анна испугалась, что он, чего доброго, заснет.

— Коллекционирование стало для меня главным увлечением. И еще музыка.

— Музыка? Студентом мой муж играл на ударных в джазовом ансамбле.

— Вряд ли Морису по душе подобная музыка, дорогая. Он ее и за музыку, верно, не считает.— Билл громко зевнул и потер щеки.

— Напротив. Джаз — моя слабость. Вот приедете в гости — пожалуйста, приезжайте поскорее,— покажу вам свои пластинки.

Билл выпрямился в кресле и угрюмо уставился на свои грязные туфли.

— А правда, что вы прекрасно вышиваете?— спросил он.

— Насчет «прекрасно» не уверен. А вообще вышиваю — успокаивает нервы.

— *Вам-то* вроде ни к чему их успокаивать.

— Да как сказать! Начал я вышивать еще в войну, когда

* разодетый, разряженный (*франц.*).

лежал в госпитале. Смеялись, считали чудачеством, впрочем, до сих пор считают. Жена придумала. Все лучше, чем томиться от скуки, как другие раненые.

— Вот бы взглянуть!— сказала Анна.

— Будете хорошей девочкой и не подведете меня в Эфиопии, может быть, я сделаю вам подарок.— Он улыбнулся.— Правда, это скорее угроза.

Билл собрался что-то вставить, но сдержался и вместо этого спросил:

— Не хотите ли посмотреть сад?

Он всегда прибегал к подобной уловке, когда гости засиживались.

— С удовольствием.

Они с Анной ухаживали за садом с помощью старичка, в прошлом железнодорожника, который жил в конце их улочки. Цветочные клумбы разбил еще предыдущий владелец дома, Билл с женой теперь только пропалывали их. А железнодорожник скашивал траву.

— Это, видимо, «Вивьен Ли»? Страсть к гибридным сортам не делает чести моему вкусу — жена, например, о них и слышать не хотела, но я люблю такие бутоны... А это что же?— Склонившись, он приподнял одну из роз между указательным и средним пальцами.

Ни Билл, ни Анна не имели ни малейшего представления.

— К сожалению, не пахнет. Но каков оттенок алого! Просто изумителен!

Прогулка по саду явно затягивалась, и Анна знала, что Билл уже жалеет о своей затее.

— Господи, да у вас тут теннисный корт! Даже несколько.

— К сожалению, они не наши, а педагогического колледжа,— объяснила Анна,— но играть нам разрешают сколько угодно. Мы дали им спилить пару деревьев у ограды.

— Они загораживали свет,— подхватил Билл.— А вы любите теннис?

— Когда-то любил. Единственная игра, где у меня что-то получалось. Даже участвовал в уимблдонском турнире.

— Серьезно?

— Молодая леди удивлена? Конечно, это было ужасно давно. Когда еще ценили искусство, а не физическую силу. Я даже выиграл один сет у Банни Остина. Но вы слишком молоды, чтобы знать, кто такой Банни Остин. А как вы?

— Билл со мной не играет. Говорит, никуда не гожусь. Сам-то он отличный теннисист.

— Ты же знаешь, дорогая, теннис никогда не был моим коньком.

— А кто победил капитана команды колледжа?

— Да, забавная история.

И Билл принялся рассказывать, как однажды, наблюдая игру двух парней из колледжа, он не удержался и посоветовал одному не поднимать мяч слишком высоко с левой стороны. «Раз уж вы такой специалист,— с насмешкой крикнул парень,— берите ракетку и сыграем». «Ладно,— согласился Билл, еще мальчишкой он любил ввязываться в такие поединки,— почему бы и нет? С проигравшего — десять шиллингов. Идет?»

— И вы, конечно, выиграли,— сказал Морис.

— Конечно,— ответила Анна.

Внезапно Билл повернулся к Морису:

— А если я вам предложу партию?

— Мне?

— Да.

— Прямо сейчас?

— Почему бы и нет?

— Морис совсем не одет для тенниса,— напомнила Анна.

— Я дам все что нужно.

— У вас разные размеры.

— Для шорт и открытого ворота не имеет значения,— не отступал Билл.— Ну как?— Он снова повернулся к Морису.

Засунув руки в карманы пиджака, Морис неспешно и спокойно оглядел сад.

— Только один сет,— сказал он наконец.— Но, боюсь, после такого обеда мне придется нелегко.

— Какая ставка? Полфунта? Фунт? Пятерка?

— Как угодно.

— Тогда пусть пять фунтов. Уж если играть, то по высокой. Высокой, конечно, для нас, бедняков. Идет?

— Идет.

Анне стало не по себе. Когда они направились назад к дому, причем Билл намеренно обогнал их и ушел вперед, она отважилась спросить у Мориса:

— А стоит ли?

— Что вы имеете в виду?

— Стоит ли вам тягаться с Биллом?

— Почему бы и нет?

— А ваш инфаркт?

Он засмеялся.

— Биллу не мешало бы держать вас в курсе последних научных достижений. Физические упражнения просто необходимы, во всяком случае, так утверждают специалисты. Я сейчас и думать забыл о сердце. Чуть ли не каждую неделю играю в гольф, даже копаю землю в саду. И очень много хожу пешком.

Пока мужчины наверху переодевались, Анна взялась прибрать гостиную и столовую; от беготни с подносами на верхней губе и на лбу у нее выступили капельки пота.

— Ну что же, сойдет, вполне сойдет,— сказал Морис, спустившись вниз. Билл следовал за ним.— Шорты, правда, чуть великоваты. Зато туфли — лучше и не подберешь. Словно мои собственные.

Твои собственные, подумала Анна, не были бы такими грязными. А затасканные белые шорты пропахли тем звериным запахом, которым от Билла несет через пару часов после душа или ванной; и как только Морис решил их надеть? — от него-то всегда пахнет лишь дорогим мылом.

Настроение у Билла совершенно изменилось: после обеда его все тяготило, а сейчас, предвкушая игру, он был сама энергия. Он сделал несколько пробных замахов, пока они шли садом, а на косогоре перед кортами хлестнул ракеткой по высокой траве.

— Ракетка вам подходит? — спросила Анна у Мориса.

Она-то заметила, что Билл, как обычно, взял себе ту, что лучше.

— Все в порядке. Я не привереда.— Он улынулся, и его светлые серые глаза задержались на ее лице.— Не часто нынче встретишь женщину с зонтиком от солнца.

— Ношу его из-за этих ужасных веснушек.

— Они совсем не ужасные, вполне очаровательные.

На кортах было пусто — студенты по воскресеньям обычно появлялись позже, уже отдохнув от выпивки и обеда. Анна устроилась на скамейке, выбрав местечко, где не было птичьего помета.

— Немного разомнемся?

— Пожалуй.

Сжавшись пружиной, Билл распрямился, и мяч глухо врезался в сетку.

— Господи! Вот так подача! Я и понятия не имел, что меня ожидает,— сказал Морис то ли в шутку, то ли всерьез и стал подтягивать ремешки широких, грязных шорт.

Даже во время разминки Билл скрежетал зубами и свирепо морщился; он вообще всегда играл с азартом, независимо, была игра важной или нет. А Морис двигался по корту с ленцой, мягко отбивая мячи и время от времени бросая Анне какое-нибудь замечание, не имеющее отношения ни к этой игре, ни к теннису вообще. Билл терпеть не мог тех, кто не отдавался игре целиком. Однажды за бриджем с друзьями он совсем бросил карты, когда Анна призналась, что сильно переаказала игру «просто так, от нечего делать». Теперь она представляла, как бесится муж от беспечности Мориса.

— Начнем?

— Если угодно,— откликнулся Морис и повернулся к Анне:— Напомните, чтобы я рассказал о новой пьесе Осборна. Вчера вечером специально ради нее ездил в Брайтон.

Первые три гейма Билл выиграл без труда. Играл он мощно, но топорно, часто мазал, зато некоторые удары ему удавались — Морис, видимо не надеясь их отбить, не бежал им навстречу. Лицо Билла перекашивала гримаса, будто от

резкой боли. Анна часто видела его таким, когда он делал какую-нибудь физическую работу. Точно такое же выражение, как ни странно, искажало его черты в минуты любви. Сейчас, правда, она заметила, что, нагибаясь за мячом, он всякий раз чему-то про себя ухмылялся. Рубашка уже давно прилипла к его мускулистой спине, а под мышками расплывались мокрые пятна.

Время от времени Морис восклицал: «Хороший удар!» или «Прекрасно сыграно!» — но Билл на эти похвалы не реагировал.

Только во время четвертого гейма Анна поняла, как ошибалась, полагая, что Морис легко позволит себя победить. Бегал он мало, потому-то Билл получал очки, которые не отдал бы ему более проворный противник. Зато Морис прекрасно чувствовал игру, и не успевал мяч коснуться ракетки противника, как он уже трусил в нужном направлении; искусно комбинируя свечи и близкие удары, он точно бил по углам, заставляя Билла носиться по корту из края в край. Один раз Билл с таким ожесточением кинулся за мячом, что врезался в железную сетку, отделяющую корты от сада.

— Не ушиблись? — осведомился Морис, снова занявшись ремешками по бокам шорт.

— Нет, черт подери! — ответил тот, хотя и ободрал себе руку.

Морис потихоньку догонял Билла, правда, пока еще теряя мячи, которые мог бы без труда вытянуть. И вот счет сравнялся: три-три. Потом он повел: четыре-три. До сих пор Анна хотела, чтобы победил Морис, а сейчас вдруг ощутила острую жалость к мужу. Она была уверена: Морису все равно, выиграет он или проиграет, а для Билла проигрыш — очередное поражение в жизненной борьбе. Стоило его команде проиграть в регби, он замыкался в себе, сиднем сидел у телевизора и ничего не ел. Она ясно представляла себе, как бушуют сейчас в его душе ярость и отчаяние.

В следующем гейме, уже ведя в счете, Морис послал мяч в дальний от противника угол.

— Ушел! — тут же крикнул Билл.

Анна, сидевшая в метре-двух от угла, была уверена и в том, что мяч попал в площадку, и в том, что Билл об этом знает.

— Ушел? — сдержанно переспросил Морис.

— Сантиметров на пять. Правда, Анна?

— Не знаю. Я задумалась и не видела.

— Тогда поровну, — сказал Морис.

Этот гейм Биллу удалось выиграть. Лицо у него побагровело и лоснилось, короткие волосы приклеились ко лбу, а рубашка облепила тело, словно резиновая, и он ее то и дело отдирал.

В следующем гейме была подача Мориса, и он снова повел. Выглядел он таким же спокойным и подтянутым, как и в начале игры, но когда он подошел за мячом к скамейке Анны, она заметила, что губы и ноздри у него побелели.

— Кажется, за чертой, — опять сказал Билл. Счет был сорок на тридцать в пользу Мориса.

— Разве? Видимо, я не рассмотрел. Значит, поровну.

Сначала искусно закрученной подачей, а потом свечой в угол после быстрого обмена ударами у сетки, Морис выиграл еще два мяча. Общий счет стал пять-четыре.

В последнем гейме Мориса словно подменили. Он как бы говорил сейчас Биллу: «До сих пор я просто валял дурака, а теперь покажу тебе класс». Его игра подняла в душе Анны бурю чувств: восхищение перед этим человеком — на тридцать лет старше мужа, после инфаркта, чуть не сведшего его в могилу, и вот вихрем носится по корту, посылая мяч за мячом с убийственной точностью; недоумение — почему он скрывал мастерство до последней минуты; наконец, жалость к мужу, разъяренному и отупевшему, как бык на арене, когда тореадор уже готовит шпагу. Морис набирал и набирал очки, завершив партию великолепно срезанным ударом с полулета, который его противник, хрипло вскрикнув: «Дьявол!», так и не сумел достать.

Убирая волосы со лба, тяжело дыша, Билл подбежал к сетке.

— Блестяще! — сказал он. — Один-ноль! За мной пять фунтов.

Годы, проведенные в закрытой школе и университете, научили его держаться «по-спортивному», и радость от победы противника казалась вполне искренней, но Анна знала, как сильно терзает душу мужа горечь неудачи.

— Отлично поиграли. И, ради бога, забудьте о пяти фунтах.

— С какой стати! Будь я победителем, я бы не забыл.

— Как-нибудь устроим ответный матч. Вот приедете ко мне, и сыграем. К сожалению, один на один больше партии я не выдерживаю. В парной игре мне полегче.— Морис вынул из кармана шорт носовой платок с монограммой и промокнул лоб и щеки.— Что же, спасибо за удовольствие,— добавил он и повернулся к Анне:— Надеюсь, юная леди не скучала?

— Ну что вы! Было на редкость увлекательно.

Хлестнув ракеткой по высокой траве, Билл ушел вперед и у сада в сердцах ударил себя по бедру.

— Серьезный противник,— сказал Морис.

— Ваша игра совсем другого класса.

— Я так давно занимаюсь теннисом, что научился кое-каким уловкам. Только и всего.— Мягко улыбаясь, он придержал перед ней калитку и пропустил вперед.— Могу открыть секрет. Его хорошо знают старики. Главное — не суетиться по пустякам. Бог с ними. Зато в нужный момент, когда на карте стоит все, расшибитесь, но выиграйте.

— Так просто?

— Да, так просто.

— Опять барахлит колено. Почти не сгибается.

Они уже переоделись после душа; Морис снова был в шелковой рубашке и сером пиджаке с голубоватым отливом, а Билл накинул поверх майки и трусов халат. Анна приготовила коктейли.

— Что-то там с чашечкой,— объяснил Билл.— Никак не могу решить, нужна ли операция. Хотелось бы обойтись без нее.

Анна уже давно заметила, что колено и плечо беспокоят

мужа только после очередного проигрыша, но он, не особенно разбираясь в себе, этого, естественно, не замечал.

— Вас, судя по всему, можно назвать очень разносторонним спортсменом,— сказал Морис.

Билл передернул плечом:

— Если иметь в виду спортивные игры, то да.

— И вы, кажется, в сборной университета по регби?

— Регби и крикет. И еще ручной мяч. Но в команде по теннису я, к сожалению, никогда не был.

Они еще немного поболтали о том о сем, потом Морис, взглянув на часы, сказал, что ему пора.

— Ради бога, не провожайте меня, тем более с большим коленом.

Билл поднялся и, преувеличенно припадая на ногу, похромал к дверям.

— Придется, пожалуй, взять эластичный бинт. Иногда помогает.

— А я пройду до машины,— сказала Анна.

Морис и Анна молча пересекли лужайку. У ворот он посмотрел на нее.

— Я прекрасно провел время. Прекрасно. Да и теннис доставил мне удовольствие. Надеюсь, что с коленом у Билла все обойдется.

— Оно довольно часто его беспокоит. Потом проходит.

— Какой он у вас энергичный! Завидую. Мне бы столько сил!

— И я бы не отказалась. Господи! Он ведь не отдал вам деньги!

— Пустяки!

— Совсем нет. Сейчас принесу.

— Не надо. Как-нибудь угостит меня рюмкой-другой. Напомните ему.

Сев в машину, он завел мотор и опустил стекло с той стороны, где стояла Анна.

— Вы уже подумали об Эфиопии?

Она кивнула.

— И что решили?

— Поеду, конечно.

Решение пришло к ней внезапно, сейчас, пока опускалось стекло машины, но сказала она так, будто бесповоротно приняла его, как только они встретились.

Хороший конец

Неожиданно и просто он вдруг подумал: с меня достаточно.

Позже он мог точно сказать, когда впервые пришел к этой мысли: он сидел на кухне в круге света от лампочки, висевшей над головой, словно отделен от остального мира, и скрюченными артритом пальцами привередливо вынимал белую острую, словно копьё, кость из рыбного пирога, который миссис Крофорд оставила ему на ужин. Решение пришло как-то незаметно, не причинив душевных мук. «Да, с меня достаточно,— повторил он вслух, ссутулившись над столом в своем штопаном пуловере, и вновь вонзил вилку в мякоть пирога (рядом с ним потрескивал транзисторный приемник, передавая последние новости, которые он и не слушал).— С меня достаточно. Надо что-то придумать».

Целая цепь событий — крупных и мелких — предшествовала этому решению: его словно незаметно несло мощным потоком извилистой реки, а потом вдруг выбросило волной на берег. Выйдя на пенсию, он с женой и взрослой незамужней дочерью переехал из большого дома в Патни* в полуподвальную квартирку неподалеку. Жена умерла так же неожиданно и некстати, как обычно встревала в разговор или влезала со своими просьбами и вопросами, когда он смотрел телевизор или слушал радио. Года два спустя незамужняя дочь, работавшая в медицинской библиотеке, объявила, что уезжает в Нью-Форест** и будет там жить в сыром коттедже со своей подругой, энергичной женщиной-

* Патни — южный пригород Лондона, известен своими многочисленными гребными спортивными клубами.

** Нью-Форест — живописный лесистый район на юге Англии.

гинекологом. И вот старик остался в квартире вдвоем с сиамской кошкой; иногда его навещала дочь, реже — сын с женой и детьми, но каждый день приходила проворная и грубоватая миссис Крофорд, на попечении которой было так много старых вдовцов и холостяков, что у нее не оставалось времени поболтать и хотя бы наскоро выпить с ним чашку кофе или чая.

Кошка была старая, шерсть на морде у нее поседела, а движения стали осторожны и медлительны. Она уже не могла запрыгнуть на его высокую металлическую кровать и обычно стояла рядом, хвост трубой, и скрипуче мяукала, словно царапая мелом по доске, пока старик не поднимал ее к себе, швырнув в сердцах на пол «Таймс»: каждый вечер он засыпал над кроссвордом. От кошки пахло затхлостью, как от одежды, долго висевшей в нежилой комнате; из ее приоткрытого, почти беззубого рта струйками стекала слюна, оставляя пятна на стеганом одеяле, а то и на простыне. «Ну ты, мерзкая тварь», — часто выговаривал он ей, оттирая пятно носовым платком, но при этом чувствовал странное сходство между собственным дряхлеющим телом (ох уж эта ломота в окостеневших суставах, острые позывы помочиться раза два-три за ночь!..) и дряхлеющим телом этого животного, свернувшегося клубком возле него.

Однажды вечером кошка не подошла к его кровати; обнаружив наконец пропажу, старик выкарабкался из теплой широкой постели и, бормоча ругательства, не накинув даже халата на свое тощее тело, поплелся на кухню, потом в гостиную; но кошки нигде не было. В кухне на полу стояло блюдо с едой: нетронутые кусочки корюшки (он сам заботливо порезал рыбку ножницами) уже засохли и загнулись кверху, словно увядшие лепестки какого-то лилового цветка. Окно кухни, выходявшее на узенький дворик — часть его владений, — было открыто: видно, он опять, как это часто случалось, забыл его закрыть. «Когда-нибудь к вам залезут воры, — говаривала миссис Крофорд, добавляя при этом: — И что с вами тогда будет?» Но кошка теперь редко

отваживалась выходить из дому, даже в такой теплый летний вечер.

«Черт бы тебя побрал!» — проворчал старик, поворачивая ключ в замке и открывая дверь; он поднялся на первую из трех каменных ступенек, ведущих во двор, зябко переступая узкими босыми ступнями. Он позвал ее и посвистел, поднялся на вторую ступеньку, опять позвал. Постепенно его глаза привыкли к темноте, и он заметил две маленькие ярко светящиеся точки в тени под раскидистой бузиной. Он опять позвал ее, но кошка не шевельнулась. Он подошел к ней, наступив пяткой на что-то омерзительно мягкое и липкое. Ветка бузины задела его по щеке. «Ах ты глупая киска!» Она как-то странно, с придыханием пискнула, когда он поднял ее на руки. Она казалась непривычно легкой, будто бесплотной. Старик понес ее в комнату, прижимая к себе одной рукой, другой с трудом закрыл дверь и кухонное окно, положил кошку на привычное место поверх одеяла, с той стороны, где когда-то горбом выделялась фигура его жены, храпевшей во сне. Он потянулся к тумбочке и выключил свет, потом положил руку на кошку и, зажав ее ухо между средним и указательным пальцами, стал его поглаживать. Но что-то было не так. Он лежал в темноте, зажав кошачье ухо между пальцев, словно увядший лист, и вдруг до него дошло, что было не так. Кошка не мурлыкала.

Проснувшись на следующее утро, он с привычным головокружением оторвался от подушки и с привычной болью в суставах спустил ноги с кровати. Кошка исчезла. Надев на этот раз халат и шлепанцы, он опять принялся искать ее и опять нашел во дворе под высокой бузиной. Бледно-голубые глаза, похожие теперь на два мутных опала, смотрели куда-то мимо него, уставившись в одну точку. С морды струйкой стекала слюна. Старик перенес кошку в кухню и налил ей остатки сливок из пакета. Но она так и сидела перед блюдцем, съевшаяся и неподвижная. Пока он одевался, она снова незаметно уползла на прежнее место под бузиной.

Старик помнил, что где-то должна быть корзинка для

кошки, наконец нашел ее, покрытую толстым слоем пыли, под кроватью в бывшей комнате дочери, которая теперь пустовала. Раньше кошка вечно сопротивлялась, когда ее хотели запихнуть в корзинку, а теперь, недвижимая и будто бесплотная, запросто позволила сунуть себя под крышку.

Ветеринар, пожилая женщина, сама похожая на тощую, голодную кошку, быстро прощупала бока животного длинными худыми пальцами, и пока она прощупывала, густая оранжевая жидкость с запахом тлена и смерти растеклась по столу. «Опухоль,— лаконично бросила врач. Потом добавила:—Почки отказали». Ее ассистентка, молоденькая девушка с красными шершавыми щеками и красными обветренными руками, вытерла грязь с невозмутимым видом, словно лужицу пролитого чая.

Когда кошку усыпляли, старик держал ее на коленях. Теплая влага намочила ему брюки, но он не обращал на это внимания. Вот так же у него на руках умирала жена.

Выйдя из кабинета, старик ощущал себя каким-то неуклюжим, кривобоким, что ли, будто совершенно непонятным образом, без боли, ему отняли руку или ногу. Внутри него образовалась пустота; временами, пока днем хлопотал по хозяйству — ходил в магазин, готовил, мыл посуду,— он забывал о ней, но ненадолго. Заглядывал сын со своей болтливой женой — пустота не отпускала его; играл в шахматы с соседом со второго этажа, прикованным к постели стариком, и между ходами — сосед всегда долго думал — пустота продолжала напоминать о себе.

Но однажды в том месте, где была пустота, он почувствовал ужасную боль, словно туда что-то залили, и это что-то затвердело и давило его невыносимой свинцовой тяжестью. Старик лежал на постели и стонал, и холодный пот струился по щекам. Потом боль возобновилась, вспыхнув теперь в левой руке, словно нить накаливания, протянутая от плеча до кисти. После этого случая он пошел к врачу, но вместо обстоятельного старика эмигранта из гитлеровской Германии сидел нетерпеливый молодой блондин с длинными волосами, спускавшимися ему до ворота куртки. Молодой

человек сказал, что у него стенокардия, но это не страшно и что если он будет лечиться, то проживет еще долго-долго, вполне возможно, лет до семидесяти. Он только не удосужился заметить — хотя все данные были в истории болезни, — что его пациенту уже семьдесят один год.

Так вот он и пришел к этой мысли: с меня достаточно. Пришел спокойно и просто, без душевных мук. Сходил к своему адвокату и составил новое завещание, по которому его сын и дочь получают меньше, чем рассчитывали, а больше — Общество защиты животных. Принялся наводить порядок в квартире: выбросил все, что не могло никому пригодиться, порвал копии налоговых деклараций столетней давности (по профессии он был бухгалтером), оплаченные счета, фотографии, письма. Устроил во дворе костер из всех этих бумажек, казавшихся когда-то такими нужными, а теперь вовсе никчемными, и смотрел, как сворачиваются трубочкой и темнеют фотографии (вот он сам, в таком чудном купальном костюме с юбочкой почти до колен, а вот дочь в школьной форме и соломенной шляпке), как занимаются и пылают малиновыми язычками налоговые декларации, как серым пеплом рассыпаются письма (их когда-то писала ему из окопов медсестра, на которой он потом женился). В то летнее утро дул ветерок, и костер горел весело.

У него были таблетки, прописанные, правда, не ему (он никогда не жаловался на бессонницу), а жене. Скоро, когда пройдет череда чудесных солнечных летних дней и он перестанет радоваться порядку, который навел в доме, где всю жизнь царил разгром, — вот тогда он их выпьет.

У старика была привычка по вечерам перед ужином совершать небольшую прогулку вдоль бечевника*. Бывало, он гулял там после работы с женой и детьми, потом — с дочерью и собакой дворняжкой, которую дочь забрала с собой в Нью-Форест, где ее вскоре задавило (совершенно нелепо — на узкой сельской тропинке) машиной, битком набитой подвыпившими туристами. А теперь он гулял один:

* Тропа вдоль канала, используемая для бечевой тяги.

старик, выглядевший гораздо моложе своих лет и шагавший нарочито быстро несмотря на то, что молодой нетерпеливый доктор советовал ему не перетруждаться и не делать резких движений.

В тот вечер река была особенно красива, словно гигантская серебристая змея, лениво извивавшаяся в лучах заходящего солнца. В воде у берега возились с сетью мальчишки в закатанных по колено штанах, пытаясь выловить что-то со дна. Их руки были черны от ила и щеки тоже перепачканы. Вдали промелькнула гребная восьмерка, и рулевой кричал фальцетом: «Раз, два... Раз, два...» Мимо старика пронеслась собака, таща в слюнявой пасти какую-то вонючую дрянь, кажется, гнилую рыбу требуху. Он вошел в тень четырех буков, росших вдоль тропы, вышел опять на солнышко: на крикетной площадке по ту сторону провисшего забора, словно во сне, двигались люди — белые плоские фигурки на зеленом сукне, — и на него накатила грусть, как при прощании. Когда-то и его мальчик играл здесь, потом женился, расплодился, разбогател и заважничал.

Старик все шел и шел, не сбавляя шагу, хотя временами чувствовал, как что-то неприятно, но уже привычно сжимает грудь, и тогда он останавливался и судорожно глотал воздух. Солнышко грело щеки, теплый ветерок ерошил волосы.

Здесь, у реки, стояли четыре дома; изгороди между ними снесли во время войны да так и не поставили заново, перед окнами тянулся ровень с тропой запущенный газон, а чтобы во время разлива их не затапливало, хозяева подняли входные двери высоко над землей. Много лет тому назад в одном из них жила проститутка, пока возмущенные соседи не выгнали ее отсюда. Теплыми вечерами вроде нынешнего она сидела, подобно мрачному монументу, в красно-синем полосатом шезлонге перед своим домом, размалеванная, как клоун, в тесном ситцевом платье, с огромной копной ярко-рыжих волос. Его жена поддержала негодование общественности: детям ужасно вредно, когда подобные вещи происходят у них под носом! Но если дети и замечали

эту большую апатичную женщину, поджидающую клиентов летним вечером, то лишь мельком. Им не было до нее никакого дела.

Проходя под одиноким буком — поменьше, чем те четыре,— старик вдруг услышал мяуканье своей кошки и остановился как вкопанный. «Галлюцинация»,— подумал он, и у него перехватило дыхание. Он взглянул вверх: там, на верхушке бука, сидела кошка, уставившись на него вроде бы спокойным взглядом ясных голубых глаз, но по тому, как она настойчиво мяукала, повторяя одни и те же две ноты, старик понял, что она боится.

Из-за дерева с неровного, в залысинах, газона, где, бывало, сидела в шезлонге проститутка, донесся женский голос:

— Не знаю, как ее достать. Наверное, лучше вызвать пожарную команду, но ведь они денег потребуют, да?

— Так это... это ваша кошка?— Он все еще думал, что его.

— Да. Глупая тварь. Забирается туда за птицами и потом не может слезть. Обычно муж лазил за ней сам. А на днях мне пришлось заплатить мальчишке, чтобы он достал ее.

Перед ним стояла женщина средних лет с прямыми светлыми волосами, круглым розовощеким лицом, полными бедрами и толстыми лодыжками русской крестьянки. У нее были крупные белые зубы, и, когда она улыбнулась, он заметил, что один зуб, в самом уголке рта, со щербинкой.

— А вашего мужа нет дома?

— Да нет.— Она звонко рассмеялась, будто он сказал что-то смешное.— Он уж давно сбежал от меня.

Кошка продолжала жалобно мяукать, и теперь они вместе посмотрели наверх. Помолчав немного, он сказал:

— Хотите, я попробую достать ее оттуда?

— Вы?!— изумилась она, но, испугавшись, что ее недоверчивый тон его обидит, поспешно добавила:— Вы же испачкаете свой костюм.

А на нем-то были старые фланелевые брюки, которые

сели и были ему коротки, парусиновые туфли, рубашка с открытым воротом и штопанный пуловер.

— Я попытаюсь,— сказал он.

— Думаете, стоит?

Он ухватился за ветку и подтянулся, а она, испугавшись, невольно вскрикнула: «Ой, осторожнее!» Но ему совсем нетрудно, ни капельки. Ничего не болит, и дышится легко. Он начал карабкаться вверх, безошибочно находя опору ногами. С высоты он взглянул вниз, сквозь листву, поблескивающую на солнце, и увидел ее круглое лицо: прищурившись, она смотрела на него. Старик ощутил неожиданный прилив радости. Лицо женщины, светящееся в зеленом водовороте, казалось прекрасным, добрым, цветущим, милым. «А у меня совсем не кружится голова,— подумал он,— совсем не кружится».

— Смотрите, чтоб она не поцарапала вас!— крикнула женщина.— Осторожнее!

Кошка все-таки оцарапала его с испугу, когда он протянул к ней руку, приговаривая: «Киска, иди сюда, хорошая, ну иди же, иди...» Он даже не заметил, как острые, безжалостные когти разодрали ему шею. В следующую минуту кошка уже мурлыкала у него на руках. Прижав ее к себе, он начал медленно спускаться, иногда останавливаясь, чтобы взглянуть на светящееся лицо женщины внизу или на тропу вдоль берега и ленивые змеиные извивы реки за ней.

— Давайте ее мне!

Она протянула руку, и он заметил, какая у нее грубая, шершавая ладонь. Он тут же представил, как она чистит картошку, драит полы, вскапывает клумбы. Он передал ей обмякшую кошку, и она прижала ее к себе, будто собираясь кормить грудью.

— Очень мило с вашей стороны. Уж и не знаю, как благодарить вас!— сказала она.

Он спрыгнул с нижней ветки и, вынув носовой платок, стал вытирать руки.

— Ой, глядите, что она натворила! Вот безобразница!

Он дотронулся до царапины и, увидев кровь на пальцах, приложил к ранке платок, уже потемневший от грязи. «Пустяки, сущие пустяки»,— сказал он. Но она ответила, что это вовсе не пустяки, что может начаться заражение и что надо сейчас же промыть это место и смазать йодом.

Вот так и получилось, что он оказался в этом ветхом, неряшливом доме, совсем не похожем на его собственную квартирку, которую он оставил в идеальном порядке; вот так и получилось, что он сидел на разбитой крышке унитаза, пока она промывала ему царапину, а потом со словами: «Боюсь, будет больно»— смазала ее йодом; вот так и получилось в конце концов, что они вместе смаковали тепловатый и очень сладкий херес на неровном, с залысинами, газоне перед домом, а в это время гребная восьмерка плыла назад, вверх по течению.

— Странно, что я никогда вас раньше не видел,— сказал он.— Я ведь гуляю здесь почти каждый вечер.

— А я видела вас довольно часто.

— Когда-то, много лет назад...— начал он и запнулся: он собирался было рассказать ей, как на этом самом месте сидела проститутка, неподвижно, словно статуя.

— Да?

— Я обычно гулял здесь с детьми,— сказал он.— И с собакой. Но это было задолго до того, как вы сюда приехали.

— Если бы муж не настоял, мы бы не купили этот дом. Я ведь не хотела. А потом он удрал и ничего мне не оставил, кроме дома.

— Но сейчас он, наверное, дорого стоит. Все дома у реки...

— Да, наверное. Только здесь сыро, комнатки маленькие, и крысы забираются с реки. Я потому и завела кошку. Правда, проку от нее никакого, совсем крыс не ловит.

— Не та порода. Моя, например, считала себя выше того, чтобы гоняться за всякой нечистью.

Они почти ничего не рассказали о себе, больше сидели молча, глядя на спокойную реку, где вдали проплывал иногда лебедь, лодка или какая-нибудь коряга. Она предложила еще бокал хереса.

— Нет, спасибо,— сказал он, ему действительно уже пора домой.

— Ну, тогда, может быть, в другой раз,— сказала она, и он ответил:

— Да, конечно, будет очень приятно, в другой раз.

Поднявшись, чтобы идти, он почувствовал неловкость, и, словно его неловкость передалась ей, она на миг смутилась, хоть и была не робкого десятка.

— Надеюсь, царапина не воспалится,— сказала она, и непонятно отчего ее простое и милое круглое лицо зарделось.

— Не беспокойтесь, это пустяки.

И, уже выйдя на тропу, он обернулся:

— В следующий раз непременно постараюсь увидеть вас.

— Да, пожалуйста.

Он коротко махнул рукой, и она помахала в ответ. Она опять взяла кошку на руки и держала так, будто собиралась кормить ее грудью. Отблески заходящего солнца играли на ее густых светлых волосах. Вдруг она показалась ему молодой, хотя ей было лет пятьдесят — пятьдесят пять.

Старик шел домой, и спокойная радость переполняла его. Он шел даже быстрее, чем обычно, но совсем не задыхался, не чувствовал стеснения в груди, никакой боли. Он вспоминал круглое лицо, мелькавшее в водовороте листвы, прищур глаз и приоткрытый рот с крупными белыми зубами. Вспоминал полные крепкие бедра и щиколотки; вспоминал, как она полулежала в шезлонге, а бокал сладкого тягучего хереса покоился у нее на животе. Он думал о том, как завтра вечером пойдет гулять, а она, наверное, будет сидеть на газоне перед домом.

Он подогрел тушеное мясо, что приготовила миссис Крофорд, и впервые за много недель съел целиком огромную порцию, хотя обычно чуть не половину выбрасывал в мусорный бак. Потом налил себе виски и вышел с рюмкой во двор — маленький сырой клочок земли. Из открытого окна на втором этаже неслись оглушительные звуки поп-музыки, но сегодня этот шум не раздражал его. Он подошел к бу-

зине и, поддавшись необъяснимому порыву, вылил немного виски на то место, где последний раз сидела кошка, съезжившись в ожидании смерти.

Старик вернулся в дом и, хотя было не поздно — солнце еще не село, — начал раздеваться и готовиться ко сну. Ему хотелось, чтобы скорее наступило завтра, чтобы опять можно было пойти по тропе мимо собак, мимо мальчишек, возившихся в иле у берега, мимо скользящих по реке восьмерок, и там, за гигантскими буками, он, возможно, опять повстречает...

Уже в пижаме, он выдвинул ящик тумбочки и вынул стеклянный пузырек, в котором было двенадцать белых таблеток. Долго разглядывал их, потом пошел в ванную, вынул пластмассовую пробочку, высыпал таблетки в унитаз и спустил воду. Все еще держа пузырек в руке, старик вернулся в спальню, лег в постель поверх одеяла и закрыл глаза. Рябили и кружились листья, и среди них круглое крестьянское лицо светилось, глядя на него...

Его сын и дочь, которые всегда недолюбливали друг друга, делили трофеи. По негласному уговору, сын приехал без жены, а дочь — без подруги.

— Когда я увидел, как он лежит, зажав в руке пузырек, я подумал, что он покончил с собой, — сказал сын.

Ему первому позвонила миссис Крофорд, совершенно спокойная, хотя слегка раздосадованная тем, что нарушился ее привычный распорядок.

— Наверное, доктор Гамилтон подумал о том же, раз решил провести вскрытие.

— Да, он мне так и сказал.

Сын выдвинул еще один ящик письменного стола, в котором царил такой же порядок, как в первом.

— И всюду так тщательно убрано!.. Будто специально все подготовил, чтобы уйти из жизни. Наверное, у него было предчувствие.

— Бедный отец! — На какой-то миг дочь искренне пожалела об отце. — Неудивительно, если б он в самом деле

покончил с собой. Жизнь его утратила смысл.

— Что ж, для него это хороший конец.

Дочь вздохнула, решив, что гравюру Стаббса* над каминном она возьмет себе, что бы там ни говорил ее брат.

Великолепный старик

Диана Браутон ждала в холле, одна среди блеска зеркал, керамических белых ваз с искусно подобранными цветами и мерцания серого шелка, потемневшего в тех местах, где его привычно касались многочисленные тела клиентов «Аделаид-Кресент». Как и всегда, она ждала ночного портъе Леса с ежевечерней чашкой чая перед отходом ко сну. Чай он подаст в серебряном чайничке, обычно таком раскаленном, что ей приходится братья за ручку обшитым оборкой, надушенным носовым платком. Еще он подаст ей молочник, хотя она никогда не пьет чай с молоком, и два бисквита, всякий раз остающиеся нетронутыми. А если они будут одни, Лес непременно заведет разговор.

Правда, сегодня, после двух порций виски, что ей поднесли до выступления перед камерами, и потом еще трех, которые она выпила по дороге обратно, в вагоне, с этим юным актером — как же его зовут, вечно она забывает, — Диана гораздо охотнее глотнула бы чего-то покрепче. Но Лес, не притрагивавшийся ни к спиртному, ни к табаку, откровенно не одобрял тех, кто питал к ним пристрастие. Позже, полусонно пожелав ему доброй ночи и оставшись наедине с ревом и бульканьем водопроводных труб и покойниками в серебряных рамочках, глядящими со стен ее спальни, она достанет бутылочку из укромного места и пропустит стаканчик на ночь.

— Добрый вечер, мадам.

— А-а, Лес, наконец-то! — Она спустила с дивана скре-

* Стаббс, Георг (1724—1806) — английский художник-анималист.

щенные ноги, все еще стройные и красивые, если не обращать внимания на оплывшие щиколотки, и повела плечами, сбрасывая норковое манто.— А я уж подумала, не случилось ли что.

— Что вы, мадам! Что может случиться? Со мной никогда ничего не случается.

Лес (ему за шестьдесят; у него розовое лицо, серебряный ежик волос и мощное, атлетическое телосложение) поставил на столик поднос и поспешил ей на помощь.

— Да ведь я задержался только на три минуты.

— Всего-то! Мне показалось, гораздо больше.— Она прижала дрожащие пальцы ко лбу.— Какой бесконечный день!

— Миссис Хартли сказала, вы были великолепны сегодня.— Выговор у него тайнсайдский*.— Жаль, что я не смотрел телевизор. Я был занят в то время.

«Чем же?»— хотелось спросить ей, но она проронила:

— Ах, право, не знаю. Он задавал мне такие дурацкие вопросы. Ну просто дитя. Эта нелепая стрижка под «битлз» и возмутительная манера перебивать, как только хочешь сказать что-нибудь интересное.

— Они все такие,— заметил Лес.— Все репортеры.

— А юпитеры... От них раскалывается голова. Вот в театре огни рампы просто не замечаешь.

— Таблеточку аспирина, мадам?

— У тебя под рукой? Так не хочется идти за ним наверх, в номер.

— Я всегда держу его при себе.— Лес порылся в личном ящике под конторкой.— На всякий случай. Но сам никогда не глотаю таблеток, заметьте.— Он достал пузырек и поставил его на поднос, перед нею.— Вы поверите мне, что я отродясь не страдал головной болью?

Никому, кроме Леса, она, разумеется, не поверила бы. Но Лес, она знала, не лжет.

Брелоки браслета на сморщенном запястье звякнули: встряхнув пузырек, она высыпала на ладонь две таблетки, а после некоторого раздумья — еще одну.

* Тайнсайд — промышленный район, прилегающий к устью реки Тайн.

— Три, мадам?

— Боюсь, что три,— вздохнула она.— Да, Лес. Меньше не будет толку. Должно быть, я уже выработала привычку организма. Так это, кажется, называют.

Она стала глотать таблетки одну за другой, далеко запрокинув голову, и морщинистая кожа на шее неожиданно подобралась.

— От лекарств один вред. Я всегда твержу об этом сестре. Мы с ней живем вместе.

— Да знаю я, знаю!— закричала она, сладостно млея от его почтительного брюзжания.— Ну полно, хватит об этом. Будь у меня *твое* здоровье...

— Я рос очень слабым ребенком. В это трудно поверить, но родители опасались, я не протяну и до двадцати. А теперь — взгляните-ка на меня!

Диана взглянула. Бледно-голубые глаза под белыми кустиками бровей лучились здоровьем; лицо выражало детскую безмятежность.

— Ты счастливчик,— проговорила она со вздохом.

— Счастливчик?

Да, счастливчик, повторила она про себя, ибо принадлежишь к тем людям, которым жизнь не набьет шишек и синяков; и если такое дается ценой бесхитростности и простоты — миссис Хартли всегда говорила, что Лес глуповат,— то столь ли уж велика эта плата?

— Счастье тут ни при чем,— доверительно сообщил он.— Просто нужно заботиться о своем теле — вот ведь какая штука. Гимнастика и снова гимнастика. Ежедневно. Когда я встаю, перво-наперво открываю окно и занимаюсь гимнастикой двадцать минут. Потом пешком иду на работу, от самого газового завода. Ну и, конечно, морские купания — зимою и летом. А еще очень важно правильно относиться к жизни. Я всегда говорю: мир таков, каким ты его представляешь.

Диана слышала это тысячу раз, но в отличие от миссис Хартли, управительницы отеля, и ее «завсегдатаев», незамедлительно обрывававших Леса, извлекала из заученных фраз

такое же успокоение, какое верующий — из знакомой до буквы молитвы.

— Завидую тебе, Лес!

— Мне, мадам? Чему тут завидовать?

Она могла бы сказать, как не раз ее подмывало сказать: здоровью, наивности, красоте. Но, как и всегда, лишь тряхнула тугими рыжими крашеными кудряшками и опустила глаза к чашке с чаем.

— Вот он я, перед вами,— продолжал Лес.— Мне шестьдесят три, а чего я достиг? У вас — имя, друзья, куча денег, вы можете жить, как душа пожелает. А я... Правда, я поштался по свету, но что у меня за душой? Я часто спрашиваю себя, мадам: что у меня за душой?

Этот вопрос нередко задавала она себе: что у него за душой? И ответ был один — тот, что она не решалась высказать вслух: здоровье, наивность, красота.

При слове «красота» применительно к Лесу миссис Хартли, конечно бы, дернула подбородком и презрительно фыркнула, раздув ноздри крючковатого носа. «Красота» подходит закатам, рдеющим за арочными окнами холла, чахлой племяннице миссис Хартли, которую тетка за огромные деньги определила учиться в женский монастырь, даже Мистеру Смигу — таксе управительницы. Но сказать подобное о мужчине — о мужчине вообще, и тем более мужчине за шестьдесят... Решительно, как же глупа эта Диана Браунтон!

Все, о чем говорил Лес и что отвечала Диана, глотая черный, с горьким привкусом чай, они повторяли множество раз — она, откинувшись на диванных подушках, он — стоя в почтительной позе у камина зимой, летом — перед окном; но именно эта привычность вселяла покой, дававший ей силы встать и отправиться в номер, к ужасам одинокой ночи.

— Пожалуй, пора и ко сну,— наконец объявила она.

— Час поздний, мадам.

— Надеюсь, я не буду мучиться от бессонницы, как прошлой ночью.

— Уверен, что нет, мадам. Вы ведь устали от выступления.

— Ну, Лес, спокойной ночи.

— Доброй ночи, мадам. Приятных вам сновидений.

А бывают ли сновидения приятными, усомнилась она, когда за нею захлопнулись раззолоченные дверцы крохотной, в мягких сиденьях, кабины лифта. *Его* — без сомнения, да. Невозможно представить, как он бродит по комнате среди ночи, как барахтается, выбираясь из сбившихся одеял, чтоб доплестись до заветного тайника и глоток за глотком лить в себя обжигающее забвение. Невозможно вообразить, как, обливаясь потом, остановившимся взглядом глядит он в потолок, на дрожащее отражение сверкающих волн; как стонет, уткнувшись лицом в кулаки, или, уставившись перед собой невидящими, расширенными глазами, задыхается в неистовом и коротком пароксизме блаженства.

«Великолепный старик», — не раз повторяла она миссис Хартли; а я, сказала она себе, стоя в одной комбинации перед зеркалом в спальне, безобразная старая ведьма. Она вздрогнула и, зевнув, поскребла сухой, как лапа хищной птицы, скрюченной кистью прикрытую шелком грудь. Постепенно мысли ее вернулись к прошедшему интервью, и она с угрюмой брезгливостью вспомнила о длинноволосом мальчишке, задававшем такие учтивые, но неуклюжие вопросы. Да, в *ваше* время... Что вы испытываете, посмотрев новую экранизацию фильма, в котором тридцать лет назад достигли вершины славы?.. В *ваше* время... Актеры *вашего* поколения... Оглядываясь на прожитое, что бы вы пожелали актрисе, начинающей творческий путь?

Что пожелать? Не снимая с себя комбинации, она бросилась на кровать, поперек, и, опершись подбородком о руку, уставилась на гардину — туда, где тени, залегшие меж тяжелых выпуклых складок, обрели очертания притаившегося человека. Что же ей пожелать? Во-первых, моя дорогая, не выходи замуж за гения в тщетной надежде, что его дарование оплодотворит тебя столь же мгновенно, как его семя. Во-вторых, если тебе так уж хочется замуж за гения, то храни ему верность. В-третьих, когда семейная жизнь дает трещину, твоя красота увядает в морщинах и заплывает складками жира, а ребенок, родившийся идио-

том, в приюте для слабоумных, не приучайся к бутылке, ибо она лишь ускорит скольжение в пропасть страха, одиночества и унижения.

Бутылка, бутылка! Она вскочила с постели, пошарила в тайнике и вытащила бутылку. Неужели она столько выпила прошлой ночью? Или эта нахалка, новая горничная — ирландка с вываливающимися вставными зубами, посмевавшая назвать ее «милочкой», — основательно к ней приложилась? Ну да ладно, вперед!

Она хлебнула обжигающей жидкости, откинув голову и широко расставив ноги, и подумала: видел бы меня Лес. А затем: какая все же несправедливость! Иные — подобные ей — на ощупь бредут по жизни, как в чужой, незнакомой комнате. Наталкиваются то на стул, то на стол, разбиваясь до ссадин и синяков, ломая кости. А другие — такие, как Лес, — либо умеют видеть в кромешной тьме, либо сказочно невосприимчивы к сыплющимся ударам судьбы. Они точно неуязвимы. Леса вот не коснулись жизненные невзгоды. Он похож на чистый стеклянный лист, без единой пылинки, без единого отпечатка пальца. Взгляни — он прозрачен насквозь, совершенно прозрачен.

Она глотнула еще и еще. Потом рухнула на постель и, подтянув к подбородку колени, в позе младенца в материнской утробе, сжала руками растрепанную голову и забормотала: «Лес, Лес, Лес». Звуки имени были целительны, подобно виски, еще горящему в горле и на губах.

Лес лежал на заляпанной нефтью, шершавой, точно наждак, гальке. Под мускулистым телом — пляжное полотенце цвета хаки, наверху — свинцовое небо. Голубые глаза открыты, руки раскинуты. Транзистор, стоявший у самой щеки, играл «Сказки Венского леса». Лес негромко мурлыкал, вторя мелодии.

В серой поросли на груди розовели соски — такого же нежного цвета, что и губы. На руках, ногах, под мышками и на животе, где поросль сужалась клином от грудины к пупку, волосы поседели до белизны. Ледяной ветер, про-

дувавший насквозь серебряный ежик, высушил соль на коже, покрыв тело шершавым, сухим налетом,— ощущение, которое он так любил. И только легкая выпуклость диафрагмы, заметная даже сейчас, когда он лежал на спине, складки на шее и утолщенность суставов предательски выдавали преклонный возраст.

Наверху, в тусклом послеполуденном свете, торопились по променаду прохожие, таща за собой упирающихся собак, толкая детские коляски, придерживая от резкого ветра полы пальто и шляпы. Иные заглядывали за парапет, на человека в выцветших голубых плавках, лежащего на полотенце цвета хаки, но в реве и грохоте волн, рушившихся в ледяной пене, лишь немногие различали мелодию «Сказок Венского леса».

Молоденькая француженка и английский парень шагали в обнимку по променаду, петляя и прижимаясь так тесно, что порой их ноги переплетались, и, чтобы не рухнуть, они еще крепче сжимали объятия. Внезапный шквал ветра задрал на девушке юбку, и Анна-Мария взвизгнула. У нее было милое, но заурядное личико, темные волосы, торчавшие острыми, тугими вихрами на слишком широком лбу, узкие бедра и вечно полуоткрытый рот. Ее спутник, Майкл, обладал пышной, чрезвычайно ухоженной огненно-рыжей гривой волос, ниспадавшей на маленькие острые ушки и являвшей разительное противоречие с общей неряшливостью фигуры. Остренький подбородок утопал в ворота шерстяной куртки, потрепанные штанины голубых джинсов хлопали на ветру, обнажая голые грязные щиколотки и вытертые замшевые башмаки.

Две худенькие девчушки лет семи-восьми перебрасывались красным резиновым мячиком. Одна бросала из-под руки, с изящным балетным па, не спеша выпуская мяч из ладони; вторая, в шортах и джемпере, похожая на сорванца, кидала сплеча, рывками, так что лохматые светлые волосы прыгали по спине. Парень с девушкой подошли совсем близко, когда сильный порыв ветра поднял мяч и, закрутив широкой петлей, отшвырнул его к ним. Майкл выставил ногу в замшевом

башмаке, отступил, снова подставил ногу — и стукнул: мяч взвился в воздух, устремившись к скамейке, где громко спорили о чем-то две закутанные в меха старухи. У их ног, точно мертвый, распластался черный, опухший от старости лабрадор. Мяч с глухим стуком ударил о спинку скамейки, женщины съежились, одна даже вскрикнула. Мяч подпрыгнул, скакнул и шлепнулся на спину спящего лабрадора; тот вскочил и, встряхнувшись, принялся озираться вокруг мутными от катаракты глазами. Анна-Мария и Майкл дружно прыснули, когда старухи накинудись на девонок:

— Надо быть осторожнее! Вы могли кого-нибудь ушибить. Найдите себе другое место.

— Да-да, ступайте, нечего здесь играть,— подхватила вторая, в низко надвинутой на озябшее пухлое личико рыжей косматой меховой шапке.

Анна-Мария хихикнула:

— Противный!

— Я ни при чем. Это все ветер.— Тонкие женские пальцы Майкла пробрались к ней под жакет, коснулись груди.— Честное слово. Я только хотел отбить мяч детишкам. Ей-богу!

— Несносный мальчишка!

Он ткнулся губами в ее ледяную щеку, поцеловал губы — мягким ищущим движением новорожденного, тянущегося к соску. Поцелуй отдавал горечью.

Анна-Мария вдруг высвободилась и, выдернув руку, побежала к парапету. Ее ресницы, колючие, стрелчатые, как и вихры, вздрагивали на ветру.

— Волны! Вот это волны!— обернувшись, прокричала она.— Большу-у-ущие!

Майкл подошел и встал рядом, засунув руки в карманы и чуть приплясывая на месте.

— Ой, посмотри! Какой-то чудак загорает! А солнца-то нет! Ненормальный!

Теперь Лес лежал с закрытыми глазами, подложив руки под голову. Транзистор по-прежнему стоял у щеки, только

«Сказки Венского леса» сменились «Медвежонком на пикнике» в исполнении густого развязного баритона.

— Идиот!— сказал Майкл.— Так недолго и на тот свет угодить.

— Красивое тело,— пробормотала Анна-Мария, изучая лежащего Леса.— Кажется, он здорово поработал над ним.

Майкл облокотился на парапет, заглянув в лицо отвернувшейся в сторону Анны-Марии.

— Господи боже!— воскликнул он.— Вот уж не думал, что ты геронтофилка.

Она обернулась:

— Quoi?*

— Красивое тело! Ну, знаешь, если это тебе красота...— Он схватил ее за кончики пальцев, но Анна-Мария отдернула руку.

— Да!— выкрикнула она.— Да, да, да!— И опять перегнулась через парапет.— Купаться в такую погоду! Он, наверное, очень крепкий и сильный.

— Ты хочешь сказать — ненормальный.

Но Анна-Мария, точно не слыша, продолжала смотреть на спящего человека, и тогда Майкл, нагнувшись, набрал горсть крохотной гальки, которой отбушевавшие штормы усеяли променад. Положив камешек на заточенный ноготь большого пальца, он сбросил его щелчком.

— Недолет!— Камешек плюхнулся рядом с транзистором. Майкл щелкнул снова — и попал между ног лежавшего Леса. Он даже тихонько взвизгнул от восторга.— Ага! Уже лучше!

Майкл кидал гальку, а Лес продолжал спать, пока наконец очередной камешек не угодил в распростертое тело, отскочил от плеча, прыгнул на грудь и скатился к пупку.

— Есть! В лузе!

Лес приоткрыл глаза и лениво пошарил ладонью по животу. Взглянул на застрявший в выцветших складках камешек, перевернулся на живот, выставив мощные плечи, от долгого лежания на гальке словно побитые шрапнелью. Потом зев-

* Что? (франц.)

нул, поскреб подбородок, сгреб камешек с полотенца и поднял глаза.

Майкл скорчил обезьянью гримасу; Анна-Мария смотрела, не отрывая глаз.

— Эй!— Лес улыбнулся и помахал. Потом поднял камешек на ладони.— Ваш?

Майкл злобно прищурился, не двигаясь и не отвечая. Но Анна-Мария медленно подняла руку.

— Эй! Эй, там, внизу!— Она улыбнулась, и Лес снова ответил улыбкой.— Холодно?

— Что?

— Холодно!— прокричала она сквозь ветер.— Холодно! Вы, наверное, замерзли!

Лес рассмеялся и сел, обхватив колени руками.

— Отлично!— прокричал он в ответ.— Вовсе не холодно.

— Пошли!— Майкл раздраженно потянул Анну-Марию.— Ну, *пошли* же! Мы опоздаем в кино.

— Давай и мы искупаемся, а?

Пропустив мимо ушей столь дурацкое предложение, Майкл большими шагами двинулся по променаду; еще раз помахав на прощание Лесу, Анна-Мария побежала за ним.

Прошло время. Наступило лето, и пляжи заполнились визжащими ребятишками, потными мужчинами и женщинами с обожженными солнцем спинами. Анна-Мария, в новом купальнике, лежала среди обрывков газет, оберток, пустых бутылок, одежды и полотенца. Трусы мучительно туго врезались в загорелые бедра, а полосочка лифчика была такой узкой, что Анне-Марии казалось, будто на ней вовсе нет ничего. Майкл лежал рядом, на животе, выставив тощие, забрызганные веснушками лопатки, светлый пушок на спине серебрился под солнцем. Щиколотки у него были по-прежнему грязные, а пятки — оранжевые от замшевых башмаков. На вечеринке он больше других хлебнул кислого испанского вина и маялся теперь головной болью; любое движение было мукой.

Некрасивая девушка (она отказалась раздеться, сказав,

что забыла купальник; когда же Анна-Мария предложила ей свой, заявила: «Нет-нет, мне сегодня нельзя») тонким гнусавым голосом бубнила что-то лежавшему рядом парню. Тот, уткнувшись лицом в сложенные руки, время от времени только мычал в ответ.

— Потрясающее старье,— повторяла она, и бисеринки пота скатывались со щеки к прыгающему подбородку.— Замедленная съемка. Титры, как в немом кино. Стоп-кадры.— Она сунула маленькую, с обкусанными ногтями лапку в полотняную сумочку и достала смятую пачку.— Сигарету?

Парень опять промычал.

— И нам,— сказал Майкл.— Прикури мне.

Дурнушка фыркнула и закашлялась, подавившись дымом от сигареты.

— Нахал! Прикуривай сам. Или заставь свою Анну-Марию. Дональд, ты слышал? Прикурить его паршивую сигарету!

— Анна-Мария, прикури мне.

Француженка замороженно смотрела вдаль.

— Анна-Мария!

Анна-Мария взяла сигарету, зажала ее блестящими розовыми губами, потянулась за спичками. И, продолжая смотреть в пространство, инстинктивно потрогала ненадежную ленточку на груди, словно желая удостовериться, что она не исчезла.

— Вот гадость, в помаде!— с отвращением пробурчал Майкл, сунув в рот сигарету.— О боже!

Анна-Мария не отвечала, и он сел, запустив тонкие пальцы в рыжую шевелюру.

— Куда ты уставилась?

— Никуда.

Но Анна-Мария продолжала смотреть, и, проследив направление взгляда, Майкл наконец обнаружил объект. Прислонившись к столбу волнореза огромным, мускулистым телом, Лес улыбался Анне-Марии.

— Интересно, он помнит меня?— пробормотала Анна-Мария.— Я думаю, да.

На самом же деле Лес совершенно не помнил той встречи, просто поймал ее взгляд и, дружелюбный ко всем, улыбнулся в ответ.

— Прекрати! Прекрати сию же минуту!

Анна-Мария снова взглянула на Леса и лениво потерла загорелыми пальцами голую ногу. Он улыбнулся — и на сей раз она, подняв руку, пошевелила ладонью, словно протирая окошко.

Майкл стиснул ее запястье и рванул руку книзу.

— Ч-черт, ты что вытворяешь?

— Здороваюсь. Дружески. Разве нельзя?

— Опять!— простонала дурнушка.— Дональд, они опять за свое. Собачатся.

— Тебе-то что!— огрызнулся Майкл и прошипел:— Анна-Мария, кончай!

— Куда хочу, туда и смотрю.

Глаза под огненной шапкой волос налились кровью, Майкл вскочил и помчался вперед — длинный и тонкий, точно проволоочный, силуэт на фоне полуденного сияния. Анна-Мария следила из-под руки; дурнушка медленно поднялась, оправляя мятую юбку в цветочек. Еще одна девушка с интересом наблюдала за Майклом.

— Вот болван!— сказал кто-то из парней.— Сейчас ему там набьют морду.

Майкл наклонился над Лесом. Золотой крестик болтался на тощей груди.

— Окажите любезность!— сипло сказал он.

— Какую любезность?— Ничего не подозревая, Лес улыбнулся.

— Не паять на мою девушку. Если вы не против, конечно.

Лес опять улыбнулся и скрестил руки. Бицепсы напряглись.

— Отлично,— кивнул он.— Просто она улыбнулась мне, а я улыбнулся ей. Чисто по-дружески. Вот и все.

— И нечего улыбаться.

— Отлично.

Это «отлично» и неизменно приветливая улыбка привели Майкла в неистовство.

— Да пошел ты!— взревел он.— Гляди, нарвешься.

Бледно-голубые глаза смотрели по-прежнему невозмутимо.

— Пойду искупаюсь,— проговорил Лес, встал, сделал несколько приседаний и легкой трусцой побежал к морю.

— Что ты ему сказал?— спросила дурнушка, когда Майкл вернулся к компании.— Ну и *храбрец!*

— Не суй свой паршивый нос в чужие дела!

Он пнул пляжную сумку и растянулся, зарывшись в ее складках лицом.

С того дня Майкл до нелепого часто стал встречать Леса.

Как-то раз в супермаркете он потянулся за проволочной корзинкой у входа, но чья-то рука схватила ее секундой раньше — и Майкл, не обернувшись, уже догадался, чья это рука. Когда их глаза встретились, Лес ответил ему безмятежно-рассеянным взглядом, точно видел впервые.

Выйдя с подвыпившими друзьями под закрытие из пивнушки, Майкл замешкался, пытаясь сдержать кислую отрыжку,— и тотчас столкнулся с каким-то прохожим. Даже не взглянув в загорелое широкоскулое лицо, он опять узнал своего врага.

— Ты что, ослеп? Куда прешь?— заорал он.

— Прости, приятель.

— Я не *твой* вонючий приятель!

Но Лес был уже далеко.

Трижды встречи случались на набережной, когда Майкл прогуливался в обществе Анны-Марии.

В первый раз Лес так и прошел бы, даже не посмотрев в их сторону, если б не Анна-Мария, упорно ловившая его взгляд. Она улыбнулась ему и кивнула — не просто кивнула, а слегка поклонилась,— и Лес, почти миновав их, успел улыбнуться в ответ, приветливо, но безразлично.

В другой раз Майкл почувствовал, как напряглись ее пальцы, еще до того, как разглядел старика, шагавшего со свер-

нутым полотенцем под мышкой, из которого торчали выцветшие голубые плавки.

— Привет,— бархатным голоском прошептала она. Лес озадаченно приостановился, улыбнувшись, кивнул:

— Добрый вечер. Как поживаете?

В третий раз неожиданная встреча явилась причиной разговора.

Майкл потребовал, чтобы Анна-Мария наконец объяснила, что она, черт бы ее побрал, себе позволяет, и Анна-Мария ответила: она делает, что ей хочется делать.

— Только не при мне,— вспыхнул Майкл.

— Очень жаль.

— Что значит «жаль»?

— Если нельзя делать, что хочу, при тебе, значит, нам вообще нечего делать вместе. Понятно?

К моменту последней встречи с Лесом их роман, завязавшийся ранней весной, уже умирал, увядая от скуки и скрытой вражды. Они жестоко ссорились, уязвляя друг друга, он — грубой, площадной бранью, она — ядовитым сарказмом, ибо теперь лишь неизбежные перемирия дарили возможность успешно заниматься любовью. Анна-Мария собиралась обратно, во Францию, где ее ждал жених, и Майкл, прежде страшившийся этого, испытывал странное облегчение, как обреченный радуется приближению собственной смерти.

В один из столь редких теперь периодов счастливого согласия Анна-Мария и Майкл, рука об руку, остановились у ковылявшего по пляжу хромого фотографа. Его бледная лошадиная физиономия блестела от пота. Анна-Мария положила голову Майклу на плечо, тот обвил рукой ее талию. Но только фотограф сказал: «Прелестно, любовь моя. А теперь не двигайся», как они увидели приближавшегося Леса.

Теперь он узнал их, дождался, пока щелкнет затвор аппарата, и заметил:

— Замечательный сувенир на память о Брайтоне!

Анна-Мария высвободилась.

— Да, мне нужен сувенир,— проворковала она, и лицо ее,

весь день бесившее Майкла выражением полной апатии, озарилось.— Послезавтра я уезжаю.

— Покидаете Брайтон?

Она кивнула:

— Возвращаюсь в Париж.

— Ну что же, удачи!

Лес двинулся дальше.

Они долго шли молча; Майкл больше не обнимал ее за талию. И вдруг хрипло пробормотал:

— И точно, великолепный старик. Просто красавец. Красавец мужчина.

Майкл неизменно опаздывал на свидания с Анной-Марией, каждый раз находя оправдания: то у него вдруг ломалась машина, то заявлялись неожиданные гости — и как раз в тот момент, когда он стоял уже на пороге, то просто возникало некое срочное дело — он обычно не уточнял какое, но которое *необходимо* было доделать. А потому, придя на последнюю встречу и прослонявшись с четверть часа перед Дворцовым причалом, Анна-Мария не слишком удивилась отсутствию Майкла. Но, стоя в гуще толпы, спешащей на пирс, к представлению «Старомодного мюзик-холла», она вдруг решила, что вовсе не жаждет видеть его и что опоздание — просто прекрасный предлог улизнуть. Весь день, укладывая чемоданы, она говорила себе, как будет скучать по нему, однако сейчас, посторонившись, чтоб пропустить пожилую чету, закутанную в пальто и шарфы, несмотря на духоту летнего вечера, катившую в инвалидной коляске дряхлое, закутанное еще теплее, неопределенного пола существо, Анна-Мария вдруг ощутила, что не только не сожалеет о предстоящей разлуке, напротив — испытывает почти что радость раскрепощения. Сон был обычным сном, пока снился Анне-Марии; теперь, пробуждаясь, она поняла: ее мучил кошмар. Она больше не будет ждать. Часы, висевшие над ювелирной лавкой, показывали, что прошло уже двадцать минут, и, если он позвонит к ней домой, она скажет, что двадцать минут — это слишком, ради кого бы то ни было.

Она одернула короткий полотняный жакетик, поправила сумочку на руке и зашагала прочь.

Лето кончалось; сумерки клубящейся дымкой оседали в узкие улочки, растворяясь в прозрачную желтизну на широком просторе набережной. Воздух был сух и пахнул грозой.

Она шла на запад, в сторону Хоува*. Из бара на эспланаде доносились меланхолические звуки пения. Мужской хор выводил:

Я видел — и тайну познал,

Я видел — и между ними не раз бывал...

Она была счастлива в Брайтоне, несмотря на неудобство пользования вчетвером одной ванной, отвратительную кормежку и постоянные ссоры с Майклом. Но сейчас она была рада сбежать от убожества и нищеты, затаившихся в каждом углу, в каждой щели нарядного города, подобно грязи и пыли в трещинах выщербленных ступеней старой лестницы в стиле эпохи Регентства, ведущей к парадному входу пансиона, где жила Анна-Мария. Здесь почти не было развлечений — разве только фальшивое веселье этих траурных голосов, горланящих над залитой теплым пивом стойкой торжественные непристойности; или студенты, что затеяли сейчас потасовку под самым носом у Анны-Марии: один зажал под мышкой шею приятеля, в то время как другой пинал несчастную жертву под зад ногой в резиновой тапочке.

— Ай, извините!— Вся троица столкнулась с Анной-Марией.

И тут неожиданно она оказалась лицом к лицу с Лесом.

— Приветствую,— поздоровался он с улыбкой и хотел идти дальше, но она преградила ему дорогу и слегка поклонилась — по привычке от пояса:

— Вы купались?

— Угадали. Я плаваю каждый день по пути на работу.

— По *пути* на работу?

— Верно. Я служу в отеле «Аделаид-Кресент», вон там,

* Хоув — район Брайтона.

вверх по улице.— Он махнул скатанным полотенцем.

— Как-то я познакомилась с одной дамой из «Аделаид-Кресент». Она приглашала меня зайти, но я так и не выбралась. Она сказала, что играет в театре. Мы встретились в поезде.

— Наша мисс Браунтон — Диана Браунтон?

Анна-Мария не отводила глаз от великолепной мускулистой шеи, поднимавшейся, словно колонна, из ворота сетчатой белой рубашки.

— Может быть.

— Я думаю, это она. Наша мисс Браунтон. У нас есть еще две театральные леди, но они не так часто появляются в свете. Конечно, это мисс Браунтон.

Краешком глаза Анна-Мария увидела — через дорогу, за спиной у Леса — подкатившего Майкла на своем нелепом трехколесном кабриолете, уродливо размалеванном зеленой и красной краской, с залепленным смешными наклейками задним стеклом.

— Куда вы сейчас?— в панике спросила она, забыв, что он только сейчас рассказал ей об этом. Она не желала видеться с Майклом, ни за какие сокровища мира.

— Я же сказал, на работу. Я — ночной портье в отеле «Аделаид-Кресент».— Он покосился на старомодные часы на волосатом запястье.— Э-э, не годится опаздывать, а то получу еще нагоняй от управительницы. Впрочем, я *никогда* не опаздываю,— усмехнулся он, заметив тревогу на лице Анны-Марии и решив, что она просто не поняла его шутки.— Ну, мисс, до свидания. Рад был встретиться с вами.

Он повернулся; секундой позже Майкл больно стиснул Анне-Марии руку. Она вскрикнула.

— Какого *черта* ты тут торчишь?

— Жду тебя.

— *Здесь?*

— Я возвращалась домой. Я ждала целых двадцать минут — достаточно долго.

— А какого *черта* ты треплешься с этим придурком?

— С кем хочу, с тем и треплюсь.

Он с новой силой сжал ее руку и, приблизив узкое лицо, прошипел:

— Ну, смотри у меня! Дождешься!

Анна-Мария со смехом вырвала руку.

— Смотри? Что значит «смотри»? Что ты хочешь этим сказать? И чего я должна дожидаться?.. Я уйду!

Она отпрянула от него и побежала через дорогу.

Провожая Анну-Марию глазами, Майкл понял, что теряет ее навсегда.

Майкл с приятелями «путешествовал» по пивнушкам на Нижней эспланаде.

Бары были внизу, под землей, под оживленной проезжей частью. Все лето их переполняли орды туристов, ирландских чернорабочих, студентов, проституток обоих полов; но теперь пришла осень с капризным порывистым ветром, треплющим парусиновые полотнища тентов, дребезжащими разноцветными вывесками на пляжах — и длинные стойки, тянущиеся от входа в глубь полутемного зала, обезлюдели, как платформы подземки поздней ночью. Никто не буянил, не горланил песен, не бил кулаком по лицу соседа; и лишь редкие брайтонские профессионалки с хриплыми доверительными головами, крепкими икрами и мощными формами, выпиравшими из тесных меховых шубок, еще заглядывали сюда.

Компания праздновала день рождения Майкла, о котором он вспомнил случайно, ненароком взглянув после лекций на дату в вечерней газете.

— Нет, не сюда! Сюда нам нельзя! Это ведь тут Скотти раздавил чью-то сумочку, и парень той бабы устроил скандал. Не помнишь? А хозяин сказал: «Чтоб духу тут твоего никогда не было!» Очень вежливо так попросил.

— Ха, вежливо! — завопил тот, кого звали Скотти. — Вежливо! Заломил мне руку за спину, я и очухаться не успел, как оказался на улице, мордой в чьей-то блевотине.

— Желаю музыку! Пошли к Фланигану?

— А мы и сами можем устроить музыку! — Долговязый юнец в роговых очках поправил на тощей шее длинный,

свисающий ниже пояса шарф и затянул визгливым фальцетом: «О нет, Джон, не надо, не надо!»

— Ну и налил же ты глаз!— заметил Майкл.

— Кто сказал — я налил глаз? Ер-рунда! Но отлить я хочу. А это — другое дело. Это в корне другое дело.

— Кто еще?

— Кто «за» — подними руку!

Пошатываясь, смеясь и толкаясь, они гурьбой повалили в общественный туалет, мало чем отличавшийся от пивнушек напротив, — разве что своды здесь были еще ниже и уже и разило мочой, а не пивом.

— Господи, ну и рожа!

— Я что, в самом деле такой?— Долговязый, вытаращив глаза, изучал свое отражение в заляпанном зеркале.

— Значительно хуже.

— «О нет, Джон, не надо, не надо!»— снова пропел долговязый, на сей раз *basso profundo**.

Майкл пытался расстегнуть брюки; он был так пьян, что каждая пуговица давалась невероятным усилием мысли и воли. И тут до его сознания стало медленно доходить, что рядом, в соседней кабинке, кто-то чужой, не из их компании, занимается тем же делом. Он повернул голову и встретился взглядом с Лесом.

— Чего вылупился?!— рассвирепел Майкл.

Лес изумленно взглянул на него:

— В чем дело, приятель?

Но не успел он закончить фразу, как на него обрушился кулак Майкла.

— Паршивый гомик!

Майкл снова ударил — и промазал; остальные, галдя, столпились вокруг: «Что, что такое?», «Эй, Майкл, врежь хорошенько ублюдку!» И звенел шутовской вопль причитавшего тоненьким голоском долговязого в шарфе. Самый здоровый и рослый, университетский регбист, схватил Леса за рубашку, другой ударил его в скулу — в следующее мгновение они всей толпой навалились на старика. Лес оседал

* глубокий бас (итал.).

на пол, скользя рукою в моче, с грохотом револьверных выстрелов ударяясь коленями о стену кабинки. Он вытянул руки, пытаясь прикрыться от сыплющихся пинков и ударов, он закричал.

Сначала мучители, подбадривая друг друга, орали и сквернословили, даже смеялись, но потом вдруг наступила мертвая тишина, нарушаемая только невнятными вскриками, глухими ударами и стуком ботинок по бетонному полу.

Они молча смотрели на окровавленного, мокрого человека, скорчившегося на полу в мутной луже мочи. И так же в молчании, крадучись, отошли и бросились вверх по ступеням — к свету и грохоту улицы.

Лес опаздывал; Диана Браунтон не помнила случая, чтобы он опаздывал так намного. Она уже дочитала роман, по телевизору смотреть было решительно нечего, разве что интервью с тремя школьными учителями на тему об общеобразовательных школах; Диана, изучая свое отражение в затейливых эдвардианских зеркалах в позолоченных рамах, ощутила нарастающую тревогу — и вспомнила о заветной бутылке.

Сегодня она побывала в гостях у бывшего мужа, по его приглашению.

Молодая жена приняла ее в маленьком, но изысканном домике на Кэмпден-хилл и сказала — хотя прошло уже десять минут после назначенного часа, — что «бедняжку Годфри задержали дела и он чуть-чуть опоздает». «Чуть-чуть» вылилось в сорок минут; все это время женщины забавлялись с очень живой и хорошенькой трехлетней малышкой, игравшей в куклы на полу гостиной. Им было трудно общаться друг с другом.

Годфри ворвался в дом усталый, но кипящий энергией и с возгласом: «Диана, милая!» — простер руки и расцеловал ее в обе щеки. Она, холодея, заметила, что он стал носить накладку и поставил коронки на передние зубы.

Посадив девочку на колени, он тут же принялся объяснять, для чего хотел встретиться с ней («Лучше сразу о деле,

потому что мы с женой приглашены на обед в Королевскую Академию»). Британский Совет предложил ему подобрать группу для международного турне, и он сразу же вспомнил — разве он мог забыть про нее? — о своей любимой Диане. Как ей нравится эта идея? В конце концов, они всегда оставались друзьями, при всех — э-э-э — временных трудностях, она же знает, какой он горячий поклонник ее таланта. Итак?

— Годфри, милый, какая чудная мысль!

И только позже она поняла, что «чудная мысль» заключалась не в том, чтобы сыграть Клеопатру, леди Макбет или Раневскую, нет, речь шла всего-навсего о синьоре Капулетти из «Ромео и Джульетты» и леди Снiruэлл из «Школы злословия». Стараясь не выказать огорчения, она повторяла: «Но я должна хорошенько подумать», пока, раздраженный, он не дал ей понять, что на все размышления у нее только два дня.

Когда за ней захлопнулась дверь — «Спасибо, милый, не нужно такси, я хочу немного пройтись», — она услышала, как, заливаясь, хохочут Годфри и маленькая шалунья. Не надо мной, успокоила она себя, но звуки хрустального детского смеха, лившиеся из окна, рассыпаясь по мостовой, только усилили горечь тоски и ярость, рожденную оскорбительным предложением.

...Где же Лес? Странно, но теперь она больше терзалась и злилась из-за него, нежели из-за Годфри. Он поступал очень скверно: он же знал, как ей нужна перед сном чашка чая.

Она уже заглянула в гостиную к миссис Хартли узнать, что случилось, но та, увлеченная партией бриджа с «завсегда-таями» — простоватой семейной парой, прежде державшей фруктовую лавку в районе Найтсбриджа, и отставным воякой, которого миссис Хартли прозвала Майор Бешеная Голова, — лишь с равнодушным презрением пожала плечами, пробормотав:

— Видимо, что-то его задержало.

Если он не подаст ей эту злосчастную чашку чая, она не сможет уснуть. Она будет ждать, одна в обезлюдевшем хол-

ле, среди собственных отражений, до тех пор, пока не начнет сочиться из-под тяжелых шелковых штор серый рассвет и не придет уборщица. У нее просто не хватает духу остаться наедине со стенами пустой спальни, не повидавав его, ни за что не хватит.

Неожиданно в памяти всплыло воспоминание детства: ей семь лет. Пансион в Эрлз-Корте. Она лежит в постели. Отец-актер (мать умерла) входит на цыпочках и замечает, что дочь лежит с открытыми глазами. «Не спишь?» — спрашивает он, и она сквозь слезы кричит: «Как я могу, пока ты не поцелуешь меня перед сном?»

Миссис Хартли пришла выключить свет.

— Не собираетесь спать, мисс Браунтон?

— Чуть позже.

— Тогда я оставлю вам лампу. Так не будет темно?

— Нет-нет, прекрасно. Благодарю.

— Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Миссис Хартли уже не единожды намекала своим приближенным «завсегдатаям», что не слишком-то удивится, если между мисс Браунтон и этим Лесом «что-нибудь есть». «Что ж, счастья ей», — прибавляла она, стремясь соответствовать избранной роли свободомыслящей, чуть циничной, но в общем-то доброжелательной светской дамы.

— А-а, Лес! Ну наконец-то! — сердито сказала Диана, проснувшись от звука шагов по мраморному полу вестибюля. Она протерла глаза и оторопело воззрилась на Леса. — Что случилось? — вымолвила она.

— Ничего, мадам. Просто маленькое недоразумение. — Лес с трудом шевелил распухшими, посиневшими губами.

— Недоразумение?!

Она оглядела заплывший глаз, рассеченный лоб, окровавленные бинты на руке, ссадины и синяки.

— Вот и все, мадам, — прошепелявил Лес, и она догадалась, что у него выбит передний зуб. — Оступился. Упал с лестницы на эспланаде.

— Зачем ты пришел на работу?

— В жизни не брал отгулов,— заявил он с былой ноткой гордости.— В больнице сказали, чтобы я шел домой и ложился в постель. Но это совсем ни к чему. Если когда и прогуляю работу, то уж не из-за таких пустяков.

— Ты...— Она хотела сказать: «Выглядишь просто кошмарно», но удержала себя.— Бедный Лес! Очень болит?

Он покачал головой и провел языком по распухшим губам; ресницы на полуприкрытом глазу странно вздрогнули.

— Немного. Но это естественно... Вам подать чай? Или уже слишком поздно?

Все еще глядя расширенными глазами, Диана встала:

— Спасибо, не надо. Пора спать. Я бы давно легла, но нечаянно задремала прямо здесь, на диване.— И невольно снова пробормотала:— Бедный Лес!

Он распахнул дверцу лифта и усадил ее в обитую мягкой тканью кабину лифта. Дверца почти захлопнулась, когда она заглянула ему в глаза, обычно столь ясные, полные бесхитростного оптимизма, и содрогнулась, встретив в них отражение знакомой тоски, отчаяния и ненависти к жизни.

— Приятных вам сновидений!— вырвалось у него по привычке, но затравленные глаза неотступно преследовали ее.

— Благодарю, Лес.

Поднявшись к себе, она достала бутылку из тайника и долго пила большими глотками, чтобы стереть из памяти это разбитое, чудовищное лицо, истерзанное тело, а главное — ненависть и тоску затравленных глаз.

С того дня она больше не говорила о Лесе: «Великолепный старик» — и никогда не ждала его перед сном с чашкой чая.

Куклы

Старик Кандзирос Фудзияма, съжившись, лежал на татами* за сценой ночного кабаре «Гранд-Салон», в узкой комнате, освещенной только фонарем на потолке. Пребывая в том

* Соломенные маты стандартного размера (около 1,5 кв. м.).

смутном состоянии между сном и явью, в которое он все чаще теперь впадал, он то и дело вздыхал, тихо смеялся или издавал сдавленные вздохи. Трое его ассистентов и молодая жена играли в японский вариант джин-рамми* и не обращали на него никакого внимания. Ему шел восемьдесят шестой год.

Время от времени крепкое крестьянское тело Харуко, облаченное в домотканое кимоно, которое старик сам ей выбирал, подрагивало в такт музыке, ревавшей со сцены. Вдруг она вскочила, бросила карты и начала отплясывать. Самый юный, семнадцатилетний мальчик, с укоризной глянул на нее сквозь толстые стекла очков в тяжелой оправе, но тотчас опустил глаза, будто поправляя хаори — накидку из плотного черного шелка, какие были на всех троих; остальные же одобрительно ухмылялись и похлопали ей, когда она села. Харуко, раскрасневшись и тяжело дыша, посмотрела на часы на пухлой руке.

— Что-то они опаздывают,— сказала она.

И тотчас вошел Дзюнъитиро, сын старика от первого брака, тоже весь в плотном черном шелке. Верхняя часть лица повторяла львиные отцовские черты, но рот был мал и капризен и почти отсутствовал подбородок.

— Что, пива нет еще?— спросил он.

— Нет,— ответил один из ассистентов, тот, что повыше.

— Даже чая старому не принесли,— сказала Харуко.

— Пойди-ка напомни,— приказал Дзюнъитиро мальчику.— Скажи им, мы уже двадцать минут ждем.

— У них сегодня народу полно,— сказал тот ассистент, который пониже.

— А чего ради они все пришли?— сказал Дзюнъитиро.— Ведь нас посмотреть! Верно?

Старик зашевелился, с усилием приподнялся на локте; седые волосы и борода разлохматились, лицо взмокло от пота и все пошло пятнами.

— Где мой чай?— раздраженно спросил он.

— Сейчас будет,— сказала Харуко.

* Одна из наиболее популярных карточных игр в США, Мексике.

— Будет, будет,— отозвался эхом старик.— Поддай трубку.

— Не надо,— сказал Дзюньитиро.— Для дыхания вредно.

— Говорят тебе, дай трубку. Трубку мне дай.

Харуко и Дзюньитиро переглянулись; потом она вскочила и начала набивать японскую трубку табаком, похожим на обрызганную никотином вату.

— Когда начинаем?— спросил старик и сбросил с ног одеяло.

— Скоро,— сказал Дзюньитиро.

— Что за шум!— сказал старик.— Почему они так шумят? Надо пожаловаться директору театра.

— Здесь не театр, одзи-сан*,— объяснил малорослый ассистент.— Вы разве не помните? Это ночное кабаре «Гранд-Салон».— Он говорил с ним как с малым ребенком.

— Ночное кабаре «Гранд-Салон».— На миг старик смеялся. Но тотчас погладил колени скрюченными пальцами и улыбнулся:— Верно, верно. Конечно. Ночное кабаре. Мы будем впервые представлять пьесу Бунраку в ночном кабаре.

— Впервые в истории,— сказал Дзюньитиро.

Харуко собрала карты, перетасовала и начала гадать.

— О чем ты спрашиваешь карты?— спросил высокий ассистент.

— Ш-ш. Тихо ты. Не мешай. Дай сосредоточиться.

— О нашем турне в Америку?

— Может быть.

Когда кончилась музыка, они так внимательно прислушались к голосу объявлявшего номера сначала по-японски, затем по-английски, что не заметили, как мальчик возвратился и поставил поднос с пивом на стол в углу.

— Наконец-то!— воскликнул Дзюньитиро, схватил кружку и стал жадно пить.— А где же чай для учителя?— тут же раздалось из-под белой пены на его верхней губе.

— Пожалуйста, сэр,— пропел официант из кабаре, нагловатого вида юнец с глянцево-черными волосами, влетая в комнату и звучно ставя на стол чайный поднос.

* Буквально: дядюшка; здесь: почтительное обращение (япон.).

— Сюда, сюда,— распорядился старик. Но официант сделал вид, будто не расслышал.— Дайте чай сюда, мне.

В конце концов подносом занялся мальчик-ассистент. Разлив чай, стал на колени, с глубоким и почтительным поклоном подал его старику, а пока тот пил, посапывая и причмокивая жалко и противно, как младенец соской, смотрел не отрывая глаз.

Вскоре в дверях показался ведущий в смокинге и затейливо расшитой белой парадной сорочке.

— Готовы?— И он ослепил их молниеносной улыбкой, так что у них в буквальном смысле слова открылись рты.— Осталось пять минут.

Оркестр играл «Не наступи на мою синюю замшевую туфельку»; певец — студент в джинсах и свитере, с крестом на худой шее — беззвучно прищелкивал тонкими пальцами левой руки в такт музыке.

— Пора, одзи-сан.

Мальчик и Харуко подхватили старика, поставили на ноги и, поддерживая с двух сторон, повели из комнаты. Харуко вполголоса подпевала мелодии, правой рукой она крепко держала старика под мышки, пальцами левой прищелкивая в такт.

Барбара Джеймс и ее подруга Инид Уэдерби принадлежали к той категории культурных и добродушных пожилых американок, которые столь часто подвергаются незаслуженным насмешкам в Европе. Муж Барбары, президент какой-то компании, скончался два года назад от сердечного приступа, оставив ее богатой и бездетной. Инид по нездоровью недавно пришлось оставить должность старшего преподавателя классических языков в том самом женском колледже, который свел подруг вместе лет сорок тому назад. И вот они утешали друг друга, путешествуя за счет Барбары по экзотическим странам.

Прыткий официант, не спросясь, пытался долить виски в рюмку Инид, но она прикрыла ее веснушчатой ручкой и отрицательно качнула головой.

— Может быть, еще чего-нибудь закажем?— предложила она робко.

— Пожалуй, фрукты,— сказала Барбара.

— Фрукты, мадам, сию минуту.— Взметнув серебряный поднос, он уже несясь выполнять заказ. В меню против графы «Фрукты» вместо цены было проставлено: «По сезону»; но в любой сезон цена была высокая.

— Ужасный шум,— сказала Инид.

— Если б не этот столик перед самой эстрадой, нам бы не увидеть кукол. Жалко, что не в театре. Но все равно ты обязана их посмотреть.

— Спасибо, дорогая,— сказала Инид, усталая и совершенно разбитая.

— Старик великолепен. Мы с Джорджем видели его лет шесть-семь назад. Представь, ему уже тогда было восемьдесят. Он у них национальная гордость, или культурная ценность, или народное достояние — словом, что-то в этом духе. Боже, какая прелесть!— Фрукты, поданные официантом на большом серебряном блюде, были подлинно плоды тончайшего искусства: бананы превратились в рыбок с фисташками вместо глаз, апельсины расцвели розами, из яблок получились поросята и щенки.

— Ну просто страшно их есть!

Так же точно думали до них и другие, а потому большая часть фруктов благополучно перекочевала к ним, нетронутая, с другого стола.

— Как они умеют украсить свой быт!— сказала Барбара.

— Дивно!

— Сначала, я думаю, куклы тебя удивят. Кукловоды все на виду, только лица скрыты капюшонами, а у главного даже и лицо открыто,— сказала Барбара, с удовольствием просвещая подругу, она и сама любила, чтоб ее просвещали, и пояснила далее, что существуют два типа марионеток: маленькие, не более фута длиной, и большие, в две трети человеческого роста.— Сегодня будут большие.

— Труппа впервые выступает в кабаре?

— Раньше в кабаре кукол вообще не показывали. В об-

щем-то, жалко их. Они не могут привлечь зрителей в свой театр на длиннющие представления, по несколько часов кряду. Ну, а как номер между немецким фокусником и английским стриптизом... словом, сама видишь, зал полон.

Оркестр, к облегчению Инид, перестал грохотать, но тут же завел мотив японской народной песни «Соран буси» в таком похоронном темпе, будто блюз наигрывал. На эстраду вышел ведущий, пригладил обеими руками и без того прилизанные волосы, откашлялся, ослепил всех улыбкой-вспышкой и объявил по-английски:

— Добрый вечер, леди и джентльмены, с кем я еще не успел поздороваться. Надеюсь, вы в восторге от Осаки и нашей великолепной погоды.

В зале раздалось два-три смешка. Кое-кто улыбнулся: больше месяца в городе лили дожди.

— Итак, мы приготовили для вас кое-что особенное, типично японское, высшего класса, очень красивое. Я вовсе не хочу сказать, что только что выступавшие английские девушки были низкого класса или не очень красивые,— он сделал паузу и переждал довольно жалкие смешки,— но то, что вы сейчас увидите, я бы сказал, немного более культурно. Надеюсь, вы слышали о знаменитых японских куклах, или, как они у нас называются,— театре Бунраку...

Несколько минут он забавлял постепенно теряющую терпение публику историей возникновения театра кукол, труппы старика, сюжетом пьесы «Додзё-дзи»*, которую им предстояло увидеть.

— Юный монах по имени Антин отправляется по святым местам и по пути останавливается в доме, где живет молодая девушка, и, разумеется — молодые люди, я думаю, везде одинаковы,— влюбляется в прекрасную Киёхимэ...

Барбара с тревогой поглядывала на подругу. Ей хотелось, чтобы той понравился Бунраку, как он нравился много лет назад им с Джорджем; и она опасалась, как бы неодолимая пошлость заранее не испортила ей удовольствие. Но не успела она подумать это, как, к своему ужасу, увидела, что на

* Храм, расположенный в префектуре Вакаяма.

авансцену выскочили восемь девиц — в афишах они значились как гардении «Гранд-Салона», — четыре в монашеских одеяниях и еще четыре в кимоно эпохи Хэйан*, и стали исполнять танец, похожий на народный, как музыка оркестра на подлинную «Соран буси». С застывшими улыбками и поводя головами из стороны в сторону, они простирали к аудитории руки, будто пытались удержать мчащийся на них поток автомашин. Лица, освещаемые сверху, были зловеще-зеленоватого оттенка. Такое же бледное было лицо у Инид; Барбаре казалось, впрочем напрасно, что такое же точно лицо у нее самой.

Как только девицы упорхнули за кулисы, на помост, специально сооруженный для этого случая на месте всегдашнего бара, конфузясь, один за другим поднялись пятеро музыкантов. Они стали откашливаться, вытирать лица огромными платками, выуживая их из широких рукавов кимоно, перешептываться и нервно хихикать. Барбара, специально изучавшая японский театр, все про них разобъяснила подружке. Та улыбалась, кивала и переводила быстрый птичий взгляд с одного музыканта на другого; но все это скорее механически, ибо она смертельно устала, не столько телом, сколько душой.

Учитель Кандзиро Фудзияма управлял Киёхимэ, его сын — Антином. У каждого было по двое помощников в черных бархатных одеяниях с капюшонами, закрывавшими лица. Черный фон подчеркивал бледность старика, и рядом с рослыми помощниками, казавшимися еще выше из-за капюшонов, он выглядел просто каким-то малюткой. Барбару поразило, как сильно он изменился за шесть лет: он и тогда-то был старик, а теперь — ну прямо какая-то ожившая мумия. Ужасно, просто ужасно, думала Барбара, глядя, как он с трудом поднимается на сцену, глядя на вялый, отвислый рот и глаза, почти совсем сощуренные из-за слепящих огней рампы. Запястья у него были невероятно тонки, руки, обнажавшиеся под рукавами кимоно, напоминали скорее кости

* Эпоха раннего феодализма (794—1185 гг.), получившая это название от г. Хэйан.

скелета. На бледном лице с большим лбом и правильным, аристократическим носом двумя огромными провалами зияли ноздри. Ему бы в постели лежать, думала она, или хоть в кресле сидеть, а не мучиться тут на сцене, из последних сил пытаясь управлять куклой. Разодетая в пышные парчовые одежды, кукла казалась в несколько раз больше своего хозяина; и вначале — это бросилось в глаза даже Инид — он с трудом заставлял ее двигаться. К счастью, первая встреча Антина и Киёхимэ и не требовала больших усилий, но Барбара хорошо знала пьесу и даже не могла себе представить, как старик справится с кошмарной сценой, когда Киёхимэ, отвергнутая Антином, превращается в змею, преследует его и загоняет в храм, где он прячется в колоколе.

Дали занавес. Опять на авансцене вертелись и кривлялись гардении «Гранд-Салона», а за сценой саксофон тянул мелодию «Соран буси». Барбара перегнулась к Инид и прошептала:

— Жалкое зрелище. Когда-то он был великолепен. А теперь... Нельзя его выпускать на сцену. Неужели он поедет на гастроли в Америку?

— Не дай бог! — Инид содрогнулась. — Так, верно, выглядел Лазарь.

Но вдруг в следующем акте случилось чудо. Сперва старик по-прежнему едва волочил ноги и спотыкался, но вот, словно по какому-то зловещему знаку, роли переменились: кукла, злобная Киёхимэ, подстегиваемая неразделенной любовью, после недолгой борьбы вырвалась из его власти и, подчинив себе, стала перебрасывать его по сцене, как мячик. Она так и выворачивала ему руки, тщедушное тельце так и летало, лицо мелькало неясным белым пятном и казалось примитивной маской рядом с ярким, выразительным, страшным лицом. Превращение девушки в змею, погоня, смерть монаха, гибель девушки-змеи в реке Хадака — все это, разумеется, было рассчитано на благоговейный трепет зрителя. Но двух американок ужасало другое. Когда под громкие звуки народной песни, исполняемой всеми музыкантами, наконец закрылся занавес, Инид воскликнула:

— Поразительно! Здесь какая-то дьявольщина. Мне было страшно.

— Даже лучше, чем тогда. Тебе не показалось...

— Что кукла управляла стариком, а не наоборот! Что она жила своей, какой-то непостижимой, страшной жизнью. Барбара встала со стула и взяла сумочку.

— Идем за кулисы.

— А разве можно?

— Конечно. Я же тебе говорила, что знакома со стариком, еще с того раза. А на случай, если он забыл меня, в чем я не сомневаюсь, я позвонила его сыну Дзюньитиро. Надеюсь, они погостят у меня, когда приедут в Кеймбридж.

— Можно я тебя лучше тут подожду?

— Да ты что?!— Барбаре было не впервой командовать робкой Инид.— Ты просто обязана с ним познакомиться. Тебе вряд ли опять представится такая возможность!

— Ну хорошо, дорогая. Раз уж ты так считаешь.

Когда обе американки в сопровождении ведущего вошли в узкую высокую комнату, они увидели, что старик, подобрав под себя колени и положив руку под щеку, свернулся на татами. То и дело он вздрагивал. Харуко стояла перед ним на коленях и обтирала ему лицо и руки куском материи, обмакивая ее в чашу с водой. К трем ассистентам прибавилось еще двое, и все они тесным кружком сидели на корточках. Дзюньитиро, взмокший от пота, облепленный майкой по худому телу, стоял посреди комнаты под лампочкой без абажура.

— Эти две американские леди говорят, будто знакомы с вами,— объявил по-японски ведущий.— Надеюсь, вам понравилось прекрасное представление,— обратился он к Барбаре и Инид, будто они малые дети и нуждаются в его подсказках. Дзюньитиро несколько раз им поклонился.

— Захватывающее зрелище,— сказала Барбара. Мальчик-ассистент встал, остальные не двигались и глядели на них снизу вверх.

— Мы вам мешаем? Может быть, Фудзияма-сан не желает, чтобы его беспокоили?

— Супасиба, супасиба,— сказал Дзюньитиро, улыбаясь и снова мелко кланяясь.

— Он, наверное, очень устал,— сказала Барбара.— Нам ужасно понравилось. Даже больше, чем когда-то. Я — Барбара Джеймс, а это — моя подруга мисс Уэдерби. Мисс Уэдерби впервые в Японии.— Барбара всегда говорила это, представляя Инид.— Я вам утром звонила, помните?

— Да, да,— сказал Дзюньитиро.— Пожалуйста.— Он указал на стулья.

— Мы только на минуточку. Поздравить вас всех и... и сказать большое спасибо. Уверена, что в Штатах вас ждет невероятный успех. Мистер Гинзберг (мистер Гинзберг был импресарио труппы в США) — мой друг, и я непременно напишу ему про то, как изумительно вы сегодня выступали.

Дзюньитиро кивал, улыбался и ничего не отвечал. Ведущий перевел.

— Вы знает мистер Гинзберг? — с ноткой недоверия переспросил Дзюньитиро.

— Да. Мне удавалось убеждать мужа, и он часто вкладывал деньги в его дело. Мы всегда были в убытке.

Ведущий опять перевел.

Дзюньитиро тут же приказал мальчику-ассистенту принести виски, хотя американки уверяли, что им не хочется.

— Фудзияма-сан устала, ошень устала,— сказал Дзюньитиро.— Он старая шеловека. Восемьдесят шесть лет.

— Да,— сказала Барбара.— Я знаю.

— Он самая известная в Японии исполнитель Бунраку.

— Да, я знаю.

— Он выступала перед сама император Мэйдзи.

Женщины удивились, как положено.

— Когда я был молод, я познакомился с Лафкадио Хёрном*.

Обе вздрогнули и одновременно повернули головы на этот голос, четко выговаривавший английские слова и доносившийся из угла, из-за спины стоявшей на коленях Харуко.

* Л. Хёрн (1850—1904) — профессор английской литературы. Работал в Японии. Много о ней писал.

Возможно ли? Барбара в уме подсчитала годы.

— Он гостил в доме у мистера Чемберлена.

— У премьер-министра Англии мистера Невилла Чемберлена?— вскричал ведущий.

— Да нет же,— нетерпеливо отозвалась Барбара.— Речь идет о Безиле Холле Чемберлене. Это ученый.

— Мистер Безил Холл Чемберлен,— подтвердил старик. Затем раздраженно, по-японски, Харуко:— Хватит, хватит, женщина. Оставьте меня в покое.

— Вы были на Западе?— спросила Барбара. Она подошла к старику и без стеснения стала на колени там, где только что стояла Харуко. Инид знала, что сама она на такое не способна, и, как ни была она разбита усталостью, не могла не залюбоваться обоими, столь прекрасными и отмеченными столь высоким аристократизмом, притом вовсе не связанным ни с богатством одной, ни с заслугами другого. Старик взял большие, умелые руки Барбары в свои и ответил:

— Да. Много лет назад я был в Англии. Я встречался с поэтом Уильямом Батлером Йейтсом, и Феноллозой, и... и...— Он выпустил ее руки, и вдруг на лице его проступило отчаяние.— Я забыл имена. Я стар. Я все забываю.

— А в Америке?— подсказала она.

— Да,— сказал он,— да.— Наступила томительная пауза, во время которой огромные глаза на изможденном лице стали тускнеть, будто затягивались пеленой.— Да, Америка,— наконец сказал он.— Вашингтон... Сент-Луис... Да... Йель... Гарвард*.

— Если будете в Гарварде, приезжайте ко мне в гости. Я живу в Кеймбридже.

— Вы живете в Кембридже?***

— Но не в Англии, а в Америке.

Вдруг она почувствовала, как у нее за спиной встали Дзюньтитиро и Харуко.

* Йель и Гарвард — небольшие американские городки, в которых расположены два знаменитых университета: Йельский и Гарвардский.

** В русском написании различают: Кембридж (Англия) и Кеймбридж (США).

— Да, я заеду к вам, спасибо.

В разговор вмешался Дзюньитиро; он заговорил негромко и очень быстро, словно надеялся, что старик, куда лучше его владевший английским, таким образом его не поймет:

— Фудзияма-сан не поедет. Доктор сказала, плохо здоровье. Мы ему говорила много раз. Он забывала.

— Я хочу поехать в Америку,— сказал старик по-японски.— Вот и все.

И сразу все трое заспорили. Барбара поднялась с колен. Не понимая ни слова по-японски, она чувствовала, что тут вышло что-то нехорошо и, наверное, это все она виновата. Голос у старика стал раздраженный, сварливый. Харуко нагнулась и обняла его за плечи, он легонько ее оттолкнул, потом еще раз, уже сильнее. Бледные щеки Дзюньитиро пошли красными пятнами, он нервно теребил узел на своем оби*. Конферансье подмигнул американкам.

— Семейные неурядицы,— сказал он, глянув на часы.— Увы, надо идти объявлять этих фрицев.

Барбара встала между стариком и Харуко.

— Мы вас покидаем,— сказала она.— Но я еще приду... может быть, завтра или послезавтра. Вы ведь будете здесь всю неделю?

Дзюньитиро с трудом удалось распустить свой капризный маленький рот в улыбке.

— Пожалуйста, приходите сегодня, после второе представление. Фудзияма-сан надо спать, а мы пойдем выпить в бар. Пожалуйста.

— Но ведь уже поздно будет,— сказала Барбара.

— Двенадцать часов, четверть первого.

— Ну как, Инид?

Инид колебалась:

— Мне бы надо спать. Я ужасно устала от всех этих зрелищ. Но ты оставайся.

— Ну ладно, посмотрим,— сказала Барбара.— Мы придем, если сможем, хорошо?

Старик протянул руку, и Барбара, нагнувшись, пожала ее.

* Пояс на кимоно.

— Пожалуйста, приходите,— сказал он.— Они вечно гонят меня спать, спать, спать. Мы поговорим про Кембридж. Про церковь... церковь...— Он с тоской огляделся, будто потерял что-то. И улыбнулся, обнажив все еще безукоризненно белые зубы.

— Церковь Кингз-Колледжа*,— сказал он.— Вы ее видели?

Барбара кивнула.

— Ну вот, дружок, если не возражаешь, я вернусь в гостиницу. Я буквально с ног валюсь.

— Но ты уверена, что не заболела?

— Да, конечно. А почему ты спрашиваешь?

— У тебя такой вид...

— Верно, старик на меня подействовал. От него... от него могилой несет.

— От стариков всегда пахнет затхлым. Он еще ничего, молодцом.

— Тогда завтра мы — в Нару**?

— Да. А ты выдержишь?

— Конечно. Просто выспаться надо.

— Позвонить тебе, как обычно?

— Да, сделай одолжение, дружок.

Оставшись одна, Барбара тоже загрустила. Старость ужасна! Унизительна! И эта ссора между стариком, сыном и женщиной (Барбара не догадывалась, что она жена Фудзиямы): будто родители загоняют ребенка в кроватку, а он артачится. Но старик — просто прелесть. В прошлую их встречу он, помнится, вел себя с ней и Джорджем чуточку надменно, что ли; учтиво, конечно, но вместе с тем чуточку недружелюбно. Конечно, дело было сразу после оккупации, американцы всем осточертели. Но сегодня — Йейтс, Фенолоза, даже Хёрн. Обязательно надо повидаться с ним еще. Растормошить его. Пусть разговорится.

* Церковная капелла при Кингз-Колледже — одном из колледжей Кембриджского университета. Памятник архитектуры.

** Древняя столица Японии. Построена в 710 году.

— Прикажете еще фруктов, мадам?— Это был все тот же приткий официант.

— Нет, спасибо.

— Виски?

— Нет, спасибо.

Официант довольно нагло убрал со стола все, кроме недопитой рюмки виски. Он бы и ту убрал, но Барбара сказала:

— Нет, оставьте это, пожалуйста.— Слишком она была стара и слишком много на своем веку повидала, чтобы спастись перед ним.

На этот раз старик буквально превзошел себя, но Барбара следила за ним с беспокойством, которое постепенно перерастало в острую, почти физически ощутимую тоску. В самые острые моменты, когда своенравная кукла неистово бросала старика по сцене, из груди Барбары так и рвалось: нет, нет, нет! Ей казалось, что, если и дальше будет продолжаться это издевательство, старик сломает руку или ногу. И когда все кончилось, она вздохнула с облегчением. И вдруг поняла, что ужасно боялась, боялась за старика, боялась — чего или кого? Куклы?

Не дождавшись ведущего, она сама отправилась за кулисы. Проходя мимо прикрытой двери какой-то уборной, она услышала голос, чуть отдававший кокни: «...а этот дурацкий камин — р-раз! и выключился...» Дальше была дверь той узкой комнаты, куда их приводил ведущий. Она постучалась. На стук никто не откликнулся. Она заглянула в комнату — никого. И вдруг она их увидела в дальнем конце длинного, угрюмого коридора. Впереди шли двое ассистентов в черных одеяниях с надвинутыми на лица капюшонами, словно средневековые палачи или члены какого-то дьявольского ку-клукс-клана. За ними тащился старик, все еще сжимая в руках куклу, а самого его с обеих сторон поддерживали сын и Харуко. Обмякший, безжизненный остов куклы мягко бился о старика, ноги путались у него в ногах, сквозь провисшую челюсть проглядывали соединительные веревочки. Остальные ассистенты и пятеро музыкантов замыкали шествие. Один негромко отбивал пальцами такт на барабане.

Заметив Барбару, старик слабо улыбнулся, и вокруг глаз еще больше собрались морщины, а ноздри расширились. Лицо было землистого цвета, волглое, голова подергивалась.

— Минуточку,— пробормотал он, покачнулся, вошел через отворенную Дзюньтиро дверь, и Барбара увидела великое множество лакированных и просто деревянных ящиков, в которых, как в гробах, покоились куклы. Другие куклы в разных позах валялись на полу, а одна, скрестив ноги и уронив голову на колени, так что борода доставала до пола, сидела на стуле. Старик приподнял свою куклу.

Ужаснувшейся Барбаре вдруг привиделось, что конструкция из веревки, деревянных палок и глины вновь обрела власть над стариком. Она ожила, стала объемной, распрямилась. Сзади кто-то сдавленно охнул. Кукла взвилась, потащила за собой старика, и оба с размаху шлепнулись в раскрытый ящик. Отвисшая челюсть старика судорожно дергалась, глаза бешено вертелись. Взгляд встретился с испуганным взглядом Барбары. Он пытался что-то сказать, он задыхался. Нога свешивалась из ящика, из свежей раны на руке сочилась кровь. Кукла придавила его. Язык старика высунулся, двигался из стороны в сторону, но единственным звуком был лишь странный деревянный щелчок.

Коза

Все то лето Окуно снимал свой фильм о козе; а поскольку это я ссудил ему денег, на которые он нанял оператора с камерой, как только выдавался свободный день, я приезжал — иногда на машине по узким, задыхающимся от пыли дорогам, а чаще поездом — посмотреть, как идут делишки. Окуно мне нравился, хотя его юный эгоизм и полное отсутствие чувства юмора часто бесили меня; но еще больше мне нравился задумчивый, прижатый холмами к серповидной полоске сверкающего песка приморский городишко, который он избрал местом своих съемок. Наша гостиница, легкая

деревянная коробка, ночами скрипела и что-то нашептывала мне, пока я лежал без сна, не испытывая в нем вдобавок ни малейшей потребности. Всех нас словно пожирало иссушающее возбуждение, будто внутри у каждого горел огонь. Но едва я снова окунался в душную атмосферу конторы в Киото, возбуждение мое улетучивалось, и, потный и злой, словно в полусне, я начинал разбор деловых бумаг, накопившихся за время моего отсутствия.

— Нутром чувствую: на сей раз мне повезет,— говорил Окуно, жадно затягиваясь сигаретой, зажатой между средним и большим пальцами правой руки, а курил он так много, что даже ладонь у него пожелтела от никотина. Мы все верили в его успех и не ошиблись. «Коза», пройдя малым экраном сначала в Японии, затем в Америке и Европе, не принесла нам дохода, зато принесла Окуно славу, которая теперь потихоньку отдаляет его от нас. Джей Опенхейм, американец, деливший с ним все тяготы съемок, теперь с горечью говорит, что он нами «попользовался»; сам же Окуно смотрит на дело иначе: это им самим попользовался талант, как огонь печью, в которой горит. И не его вина, если в пламени сгорели другие.

После скудного ужина в японском духе, состоявшего из овощей и рыбы, обычно в сыром виде, и остро приправленного клейкого риса, мы укладывались на татами, не зажигая света, чтоб не привлекать комаров, мириадами плодившихся в маленьких гнилых прудах, разбросанных по нашему саду. Но возбуждение не покидало Окуно даже после изрядного количества сакэ. Скрючившись над неизбежной сигаретой, с которой он не расставался, как младенец с соской, он разглагольствовал на своем несколько своеобразном, но удивительно беглом английском. Джей, который напоминает боксера своим помятым мясистым лицом и непомерно большими кистями, висящими на узких запястьях, как боксерские перчатки, перехватит, бывало, мой взгляд, улыбнется и покачает головой. «Во дает!»— говорит мне его улыбка, хотя его хрипловатого тоненького голоса не слышно вовсе. Старый Накамура, поработавший на своем веку со многими

знаменитыми режиссерами, пока не спился, бывало, спит, уткнувшись острым подбородком в грудь, словно пригвоздив себя к стене, подле которой его сморило. Малыш — я помню только, что звали его Син-тяном, — сидит, бывало, поджав голые ноги и обхватив их сухими мускулистыми руками, словно пытаюсь унять душевные страдания, и лицо у него напряженное и кажется на много лет старше.

Сюжет фильма был прост, и придумал его я сам и как-то, не придавая ему значения, пересказал Окуно. Мое авторство вскоре было забыто, сюжет стал его сюжетом, а я не возражал, ибо чем больше он его мусолил, тем меньше он мне нравился. И сейчас я уже не смогу припомнить, что было в первом варианте, а что внес Окуно и другие во время наших бесконечных ночных бдений.

Дети из двух бедных семей, ютящихся в одной лачуге на берегу моря и живущих сбором водорослей, находят козу, которая забрела, с колышком на веревке, на берег, соблазненная кучей отбросов. Сначала они пугаются и один даже предлагает натравить на нее лохматого, вечно голодного цепного пса, стерегущего лачугу от воров. Вскоре, однако, все привыкают к козе. Старик, глава этой семьи, даже пытается ее доить, но безуспешно: то ли у нее нет молока, то ли у него нет навыка. И детям велено от нее избавиться: в доме и так есть нечего, пес рычит и рвется с цепи, соседи еще подумают, что они ее украли. Дети делают вид, что прогнали козу, а сами прячут ее в кустах на холме и строят ей загончик на случай непогоды. Каждый день они тайком носят ей траву и очистки — все, что удастся раздобыть за день. Коза делается средоточием их жизни — ради нее они готовы на жертвы, ей отдана их любовь. Она становится их божеством, и они воздвигают для нее шаткое подобие синтоистских торий* из грубо обрезанных бамбуковых жердей, связанных соломой.

Но вот козу обнаруживает прежний хозяин, вязальщик веников из соседней деревни. Он разъярен, он обвиняет детей в воровстве, разрушает и сжигает загончик и тории,

* Ворота в виде прямоугольной арки перед синтоистскими храмами.

грозит полицией. Дети безутешны. А ночью или рано поутру они продолжают носить козе, привязанной у дома хозяина, все, что утаили из своего скудного рациона. Старик и родители об этом узнают, детей наказывают и запрещают ходить к козе. Но они продолжают к ней ходить.

Как-то на рассвете они просыпаются от громкого блеяния и неистового лая, выбегают из лачуги и, к своему восторгу, видят козу, которая, ни на кого не глядя, пригретая лучами утреннего солнца, роется в отбросах. Подтягивая сползающие штаны, появляется старик. Глаза его опухли от сна, подбородок в густой седой щетине.

— В чем дело?— кричит он.— Что этой скотине здесь надо?

Дети объясняют, что они ни при чем: коза пришла сама.

— Тогда гоните ее!

Дети не двигаются с места.

— Кому сказано — гоните ее!— Размахивая руками, подтягивая штаны, старик идет к козе. Он хрипло покрикивает и хлопает скрюченными от ревматизма руками. Вдруг коза становится на дыбы и склоняет голову, как в церемониальном танце, намереваясь его боднуть.— Ах ты скотина!— Он пытается ухватить ее за рога. Один рог ударяет его по колену. Рассвирепев, старик бежит к псу. Тот визжит и рвется с короткой цепи. Старик наклоняется его отвязать. Дети пытаются помешать ему. Но поздно: одним броском пес уже настиг козу и вцепился ей в горло. Козе удается стряхнуть с себя пса, ударить рогами и убежать. Но пес мигом ее догоняет. Насмерть перепуганное животное бросается в воду. Дети прыгают за ней. Она плывет все дальше и дальше, вдруг исчезает под водой и больше не показывается. Несколько дней спустя прибой выбрасывает вздувшийся труп на берег, и фильм кончается сценой погребальной церемонии и похоронами козы на вершине холма, где стояли загончик и тории.

Экранизируя эту в общем-то сентиментальную мелодраму, Окуно великолепно воссоздал прекрасный мир детства. Актерами были местные жители. Детей он отобрал из ре-

бьячьей компании, целыми днями игравшей на берегу в бейсбол, и в том, как он сумел с ними справиться, сказался — это хором отмечали все критики — его талант режиссера. Их было пятеро: двое младших, четырех и семи лет, пухленькие, розовощекие, с густыми жесткими волосами; трое старших, худые, но крепкие, двигались то по-звериному легко, то по-крестьянски неуклюже. Старика играл владелец нашей гостиницы, родителей — рыбак с женой и местный учитель с женой, красавицей из Токио. Я не уставал восхищаться тем, как Окуно где лаской, где угрозой добивался от столь непохожих людей всего, чего хотел. Козу, белой зааненской* породы, привезли с гор. Это было великолепное животное, с блестящей шерстью, глазами-топазами, изящными копытцами, которые она поднимала и ставила с утонченной грацией гейши, ступающей по раскисшей от слякоти улице, и с большим выменем, болтавшимся из стороны в сторону, когда она трусила рядом с нами. Удивительно, но между нею и детьми установились точно те же отношения, что и в фильме. После съемок они часто бродили вместе по холмам в поисках пищи или сидели рядом, пока она паслась или отдыхала. Даже Окуно, Джей, Накамура и малыш, казалось, привязались к козе, ухаживали за ней, расчесывали, приносили ей воду и пойло и восторгались ее проделками.

«Естественность» — словечко, которое Окуно особенно любил повторять. Другим его любимым выраженьицем было «как в жизни», и именно эти качества фильма потом превозносились критиками. «Нет-нет, все должно быть как в жизни — никакой липы», — кричал он, схватившись за голову, странно узкую у висков и расширяющуюся книзу, как груша. «Все должно быть как в жизни — естественное!» Это его «как в жизни» стоило нам многих хлопот. Например, у красавицы из Токио явно были ухоженные ноги.

— Разве это ноги рыбачки?! — сразу взвился Окуно, глянув на них. И пришлось ей ходить босой, пока кожа на ногах не загрубела и не потрескались ногти. Он случайно на берегу обнаружил брошенную хижину, отправился в деревню,

* Молочная порода коз.

набрал там всякого хлама: побитые молью одеяла, засаленные обрывки циновок, стол со сломанной ножкой, треснутые чашки и даже выдавшую виды керосинку,— и все это туда сволок.

Он гонял нас без жалости — в те дни, когда я приезжал, доставалось и мне; вечно надо было то что-нибудь принести, то дать совет о том, о чем я понятия не имел, то выгуливать козу. Он часто нас оскорблял.

— Бака! Болван!— орал он на кого-либо из актеров или Джея, Накамуру или Син-тяна.— Нет, нет, НЕТ!

Он силой навязывал кому-либо из нас свою волю:

— Сюда! Сюда! Порядок. Нет, не так! Вот как! Так! Так!

Но с детьми и с козой он был неизменно нежен. И я не переставал этому удивляться.

— Черт! Он несносен!— жаловался мне втихомолку Джей. Накамура, ежась от саркастических или гневных слов Окуно, тайно прикладывался к бутылке японского виски, которую всегда носил с собой. Син-тян еще крепче обхватывал себя руками. Хотя я и не участвовал в съемках, Окуно бесился, если я куда-либо уходил.

— Где был?

— Купался.

— Купался! Но у нас работа стоит, много работы. Как мы кончим фильм, если каждый купаться будет?

Однажды, когда съемки уже приближались к концу, я приехал из Киото и застал его на берегу в ужасном настроении.

— В чем дело?— спросил я.

— Коза.

— Коза?

— Пропади она пропадом!— Он затыкнулся окурком и пошевелил пальцами голых ступней, отряхивая песок.

— Чертова коза!— сказал Джей.— Видеть ее не могу.

— Да в чем дело?

— Снимаем сцену с псом,— сказал Окуно.— Более или менее ничего. Пес бросается на козу. Так. Только успеваем отснять пару кадров, коза поворачивается. Так. Пес наутек.

Ладно, чуть подрежем, будет ничего. Даже очень ничего. Тогда привязываем веревку, тащим козу в море. Пока ничего, даже очень ничего. Так эта дура так плавает, что где нам до нее!

— Кошмар!— сказал Джей.— Что мы только ни делали, чтобы ее утопить! Все напрасно. Накамура (Накамура спит, как всегда, и слюна, ниточкой свисая с нижней губы до худой ключицы, блестит на солнце) ударяет ее веслом, еще, еще. Не вышло. Син-тян ныряет, хочет утопить ее за веревку. Не тут-то было. У него до сих пор на плече отметина от рога. Все перепробовали, и все зря.

Я смотрел на них с ужасом.

— Вы что, рехнулись?

— Прямо скажем, зрелище не из приятных,— признался Джей.

— Бедное животное!..

— Так жива ведь пока,— хмыкнул Окуно.

— Ну и пакость вы затеяли, Окуно! По-другому не назовешь.

— А как отснять последнюю сцену, а? Подскажи,— сказал Окуно, возбужденно поворачиваясь ко мне.— Ну! Подскажи!

— Какую сцену?

— Он еще спрашивает! Сцену, когда труп этой идиотской козы выбрасывает на берег и дети волокут его на холм и там хоронят. Вспомнил?— Его аж передернуло от злости.— Ну, так как же?

— Можно же как-нибудь подделать,— сказал я.

— Подделать, подделать!— Он был взбешен не меньше меня.— В этом фильме подделок не будет. Не будет — и basta.

Я с отвращением поднялся.

— Если бы в Японии существовало ОЗЖ*, вы бы все уже сидели за решеткой.— Я зашагал вниз к морю; мне и в голову не пришло, что никто из них понятия не имеет о том, что стоит за этим сокращением. Пройдя несколько шагов, я

* Общество защиты животных.

остановился и оглянулся. — Дети, конечно, видели всю эту мерзость?

Никто не ответил.

Я заплыл далеко в море и, перевернувшись на спину, широко раскинув руки, попытался расслабиться и унять нервную дрожь; потом возвратился к берегу, но не туда, где развалились на песке Окуно и компания, а чуть в сторону. Все равно придется вернуться за одеждой. Но не сейчас. Потом, пусть они уйдут. Больше всего, как мне помнится, я злился на Джея. Остальные, в конце концов, японцы. Я совсем забыл, что, если отбросить внешние условности национального поведения, Окуно был мне гораздо ближе по духу.

Ногам было больно на раскаленном песке; казалось, я бреду по размельченному стеклу, и частички его на полуденном мокром ветру то попадали в глаза, то больно кололи мне лоб и щеки. Я направился туда, где ручей, пробив склон холма и перепрыгнув низкий каменный уступ, впадал в неглубокий пруд. У пруда торчало несколько чахлах деревьев. Подойдя поближе, я услышал громкий металлический звук, а затем тревожное блеяние. Цепь намоталась на колышек, и обезумевшая коза не могла сдвинуться с места. Земля была изрыта копытами и превращена в месиво. Шерсть козы, обычно ухоженная и блестящая, теперь торчала спутанными клочками, в которых застряли колючки, обрывки водорослей и комки глины. Раны, одна на шее, другая на спине, уже подсохли и были черны от мух. Только я сделал движение, чтобы подойти и размотать цепь, коза тут же выставила рога. Тогда я стал медленно приближаться, вытянув вперед руку и стараясь голосом успокоить животное. Наконец я дотянулся до колышка, выдернул его и стал разматывать цепь, а коза, бешено мотая головой, с каждым новым витком пятилась все дальше и дальше. Освободив козу и вбив колышек на место — за неимением молотка пришлось воспользоваться большим плоским камнем, — я взобрался на склон и наломал веток каштанового дерева, ибо знал, что она их любит. Коза набросилась на них с жадностью. Пока она жевала, я нагнулся и осторожно начал вытаскивать из ее шерс-

ти колючки репья и водоросли. И дети видели весь этот ужас, подумал я. Гнусно. Дико. Потом я уселся на камень и уставился на козу. Сначала, не обращая на меня никакого внимания, она нервно ошипывала листья и с хрустом уписывала их, а потом наконец задрала голову и посмотрела на меня. Удивительные глаза, плоско посаженные по краям узкой мордочки, абсолютно ничего не выражали; но, сам не зная почему, я не выдержал этого взгляда, встал и пошел прочь.

— Вечером я уезжаю,— холодно сказал я Окуно, когда мы столкнулись в холле гостиницы.

Тонкие брови поползли вверх:

— Сегодня? Почему?

— Противно.

На какой-то миг он задумался. Затем медленно процедил:

— Иногда ради художественного эффекта приходится делать противные вещи.

— Нельзя.

— Нужно,— ухмыльнулся он.

Теперь-то я понимаю, это была всего лишь бравада, но тогда его ухмылка усугубила мое отвращение.

— Как бы там ни было, я хочу уехать. Мне... мне надо в Киото.

— А вы на машине?

— Нет.

— Тогда, боюсь, придется остаться до утра. Последний поезд,— он посмотрел на часы,— без пятнадцати шесть. А сейчас двадцать минут седьмого.

— Но ведь можно же...

— Думаю, придется остаться.

— Но я, черт побери, не желаю оставаться. Вообще не желаю иметь с тобой больше никакого дела. Я по горло сыт этим фильмом, твоей самовлюбленностью, и... и жестокостью, и... и...

Я повернулся и бросился наверх к себе в комнату. К сожалению, с треском захлопнуть за собой раздвижную японскую дверь практически невозможно, и после нескольких

попыток я выглядел довольно глупо. Только уже потом, чуть успокоившись, я наконец плотно прикрыл дверь. Но голос Окуно все равно доносился до меня с нижнего этажа сквозь хрупкую стенку из вощенной бумаги: «Странно... жара... истерика... Коза... До завтра обойдется... Завтра... снова снимать... Коза...»

Мне было тоскливо и грустно; я в одиночестве читал книгу, когда вошла служанка и спросила, желаю ли я обедать со всеми; в одиночестве я съел обед в своей комнате; в одиночестве заглотал из гостиничного стакана тепловатый джин, который прихватил с собой из Киото. Затем, не зажигая света из-за комаров, я сел у окна и долго всматривался в серповидную полоску песка и бледнеющее за ней море, ощущая на своем лице и голых руках неприятно сырой вечерний воздух. Около девяти я, против обыкновения, захотел спать.

На рассвете меня разбудили детские голоса; и хотя я не привык вставать в такую рань, я не почувствовал раздражения, скорее, наоборот, ощутил странную приподнятость. Я встал с футона*, и легкий ветерок из открытого окна, уже не горячий и липкий, а удивительно сухой и прохладный, затрепетал в складках летнего кимоно, в котором я спал. В лучах восходящего солнца убогая комнатенка вдруг преобразилась, и в какой-то миг все в ней показалось мне красивым: и стройный бамбук токонома**, и тускло отсвечивающие балки вдоль потолка, и безупречные контуры татами, и белые квадраты на бумажных перегородках. Какая муха меня вчера укусила? Глупо устраивать сцены, что бы там ни случилось. Все му вые из тебя: инициативу, энергию, терпимость, сочувствие, душевные силы — и оставляет одно — раздражение и отвращение.

Голоса звучали все пронзительней и громче: видно, дети из-за чего-то разволновались — скорей всего затеяли сорев-

* Ватное одеяло или матрац.

** Токонома — стенная ниша с приподнятым полом, для икэбаны или свитка с картиной либо каллиграфической надписью (япон.).

нования по плаванию или споры о бейсболе, в который готовы были играть бесконечно, невзирая на жару и время суток. Я подошел к окну и облокотился о косяк.

А, вон они! Далеко, а по голосам кажется, что прямо здесь, под окном. И коза, конечно, с ними. За спинами детей мелькнул сначала рог, потом копытце. Вдруг что-то сверкнуло над их головами, и в тот же миг они, как по команде, издали странный замирающий вопль. Снова сверкнуло. Тесная толпа распалась, дети разбежались по сторонам, но тотчас вернулись с палками и камнями, подобрав их на берегу за лачугой. «Вассей, вассей!» — кричали они, как кричат исполнители ритуальных синтоистских танцев, — они окружили козу, она, вся в крови, дергалась на боку, и в каком-то безумном исступлении стали забрасывать ее палками и камнями и даже прыгать на нее, втапывая все глубже в песок.

Син-тян, отличный пловец, отбуксировал труп козы на двух шинах далеко в море, и Окуно с Джем и Накамурай смогли завершить съемки. Последняя сцена, когда прибор выбрасывает труп козы на берег и дети устраивают погребальную церемонию, была, в чем единодушно сошлись критики, самая трогательная. Дети — лично могу подтвердить — плакали навзрыд, без уговоров и понуканий: плакали горько, безутешно, захлебывались, причитали и задыхались. Тут уж, чего всегда требовал Окуно, не было никакой подделки, никакой липы.

Тризна

Голова вздернута, грудь вперед, Фроссо многие годы была на невидимом эскалаторе чуть повыше меня. Потом ступенька, где она стояла, как бы отделившись от других, набрала скорость — и Фроссо, перевалив подъем, исчезла. Необъяснимо, но люди, что лепились к ней, как плесень к крепкому дереву ее жизни — она их называла «мой узкий круг», — вместе с ней не исчезли.

Любой грек подтвердит, что в свое время Фроссо была одной из лучших певиц в стиле «бузуки»*, и даже когда ее изумительный по диапазону голос осел и осип от безрассудных перегрузок, когда бесконечные сигареты довели ее до хронического бронхита, а густой грим уже не скрывал глубоких морщин у рта, когда, жадная к еде и вину, она погрузнела и обрюзгла,— даже тогда Фроссо не растеряла своих поклонников. Я познакомился с ней сразу после войны: она выступала в скудно освещенной таверне около Odos Syngrou — длинной ухабистой дороги между Афинами и Фалироном. Вся в звякающих драгоценностях, с черными, как смоль, волосами, падающими на расцвеченное блестками платье, вульгарная, похожая на цыганку, она была все-таки хороша, и ее голос, чуть гнусавый и резковатый, тоже был хорош. На шатком деревянном помосте под яркими звездами она пела солдатам, морякам, летчикам, лавочникам, шлюхам, мастеровым, и среди них горсточке иностранцев, вроде меня, о несчастной любви, разлуке и внезапной смерти. Ночи стояли душные, Фроссо сильно потела, и поблескивающий атлас ее платья чернел под мышками и у талии мокрыми пятнами.

Позже от нее самой и от «узкого круга» я узнал, что в пятнадцать лет ее, деревенскую сироту, выдали замуж за какого-то полубарышника, полубандита, которому перевалило за шестьдесят. Она от него сбежала и одно время была проституткой в Пирее, чего, кстати, никогда не скрывала. Потом Фроссо снова вышла замуж, на этот раз за хлипкого юнца из бедной семьи малоазиатских греков, и родила своего единственного ребенка — сына. Юнец в войну погиб — непредвиденно героически, но совершенно бессмысленно: он подорвался на mine, пытаясь подложить ее в машину немецкого генерала. Оставив сына на сестру своего погибшего мужа, преследуемая по пятам гестаповцами, Фроссо бежала

* Струнный народный инструмент, под аккомпанемент которого в тавернах поют песни, чаще народные. Отсюда и стиль исполнения — «бузуки».

в Египет и там, в Александрии, начала потихоньку завоевывать популярность, выступая перед застрявшими, как и она, в тоскливой эмиграции греческими солдатами.

В годы экономического процветания дорога из Афин в Фалирон была расширена, заасфальтирована, и теперь ее уже освещали не редкие тусклые лампочки, а стройные ряды ярких фонарей. Голые доски столов в таверне прикрыли скатерками. Появились жестяные вазочки с цветами, меню, такие путаные, что не разберешься, официанты в блестящих куртках, американские машины, немецкие туристские автобусы и японские мотоциклы, на которых парни в итальянских штиблетах катали девиц в итальянских косынках. Солдаты, моряки, летчики, лавочники, мастерские появлялись редко и робкими кучками жались в тени позади столов. Шлюх теперь было не узнать. Зато Фроссо не изменилась. Драгоценности на ней, правда, были уже настоящие, но все равно они выглядели так, будто их приобрели в дешевой деревенской лавчонке. Платья она выписывала из Парижа, Флоренции, Лондона, но на ее крепкой крестьянской фигуре любая одежда казалась творением какой-нибудь местной портнихи, у которой в глазах рябило от бесчисленных блесков, рюшек и перышек. Однажды я навестил ее в больнице («Этот старый бандюга в Патрасе так разворотил мою водопроводную систему в первую ночь, что она до сих пор не наладится») и пришел в ужас, увидев, как поседели и поредели ее некогда роскошные волосы. Со временем я привык к разным сумасбродным парикам — иссиня-черным, темно- или огненно-рыжим, каштановым, соломенным и даже платиновым — и воспринимал их столь же спокойно, как, скажем, коронки на ее щербатых зубах или подбитые ватой лифчики.

Она перенесла простуду, вымоталась. Сразу после долгих гастролей за границей ей пришлось весь день с раннего утра работать над новогодней программой для телевидения. Я ее ждал к ужину, но Фроссо не пришла в назначенное время и позвонила только час спустя.

— Миленький, пожалуйста, не сердись. Ладно? У меня

сегодня не получается. До смерти устала и ни на что не гожусь. Элени уложит меня в постель.

Элени когда-то работала с Фроссо в пирейском борделе, а теперь ей прислуживала, если, конечно, они не были в ссоре, что случалось довольно часто.

— Брось, Фроссо,— сказал я, не веря ни одному слову.— Кто он?

— Да нет же, миленький. Знаю, мне не всегда можно верить, но сейчас я не вру. Никого у меня нет. Честное слово.

Я ей все-таки не поверил. Но она, как и сказала, поехала домой, приняла ванну, выпила виски, легла в постель и умерла. Просто, не правда ли? У Фроссо все было просто. Состоялось вскрытие, поскольку «узкий круг» с болезненной подозрительностью смаковал версию самоубийства. Кто же не знает, твердили они, что после ссоры и бури взаимных упреков Фроссо порвала с этим мальчишкой Димопулосом, что она была в долгах, так как по совету импресарио неудачно поместила деньги, что, наконец, ее горько обидели, выбрав для телевизионных передач по Би-би-си другую певицу, почти неизвестную девчонку... Но «узкий круг»— такое случалось и раньше — ошибся, не понял Фроссо. Она умерла от инфаркта.

Никто из близких мне людей не бесил меня, как Фроссо, и даже теперь я не только горевал, но и злился по поводу ее внезапной кончины. Сколько раз она, бывало, звонит мне в самый последний момент, чтобы отменить свидание, а на вопрос о причине отвечает, что, мол, должна быть в Каире, Стамбуле или Нью-Йорке. Сейчас-то она где-то еще дальше и уже никогда не вернется. Узнав о случившемся, я присел на взятый напрокат диван и устался на взятый напрокат стол. Крышку стола прорезала царапина, и мне вспомнилось, как несколько месяцев назад Фроссо закинула на него ноги и ободрала каблуком красного русского сапожка. Ненароком она портила все, к чему прикасалась: на скатертях оставались винные пятна, на полотенцах — губная помада, на коврах — грязь, на чашках — трещины. Также

ненароком она ранила своих близких. Я все смотрел и смотрел на эту царапину, пока рваная, острая полоса болью не впечаталась в сетчатку глаз.

Сына Фроссо мы чуть ли не с детства окрестили Портфолио. В любое время дня, в любом месте при нем был черный кожаный портфель с золочеными инициалами на крышке — «мой портфолио», как он его называл. В ресторане он прислонял его к ножке стола, устраивал на свободном стуле, а то и баюкал на коленях. Он таскал его с собой в кино, в театр, на званые обеды, лодочные и автомобильные прогулки, даже на пляж. Но мы никогда не видели портфель открытым. Что же там все-таки лежало? «Узкий круг» забавлялся, строя различные предположения. Наркотики? Порнографические открытки? Деньги, которые он боится отдать в банк? Иногда кто-нибудь из нас задавал ему этот вопрос и неизменно слышал в ответ:

— Бумаги, просто бумаги.

Работал он в конторе по продаже недвижимости, и мне представлялось, что в портфеле лежат мятые, потертые на углах проспекты «великолепных угодий» в каком-нибудь из номов*.

Мими был весь серый. Серое лицо, серые волосы, серые костюмы. Узкие плечи, цыплячья грудь и тонкие, квелые пальцы лопаточками — признак умственной или физической недоразвитости. Говорил он еле слышно, проглатывая окончания, как-то иносказательно и очень скучно, поскольку предпочитал *katherevousa* — архаические выражения — разговорным. Фроссо, по-моему, относилась к нему так, как относится к своей собаке хозяйка, которой не очень-то по душе животные. Что нужно псу? Теплый половичок и чтобы вовремя накормили, вовремя вывели на прогулку да еще изредка выгнали глистов и вычесали блох. Если у пса сухой нос или нет аппетита, надо сводить его к ветеринару. Вот и все. А бедняге, у которого не было другой хозяйки, сравнивать не с чем. Он привязывается к ней, виляет хвостиком, когда она приходит домой, и поджимает его, когда уходит.

* Административно-территориальная единица в Греции.

Мими так и не женился. Долгое время он ухаживал за какой-то девицей, которая жила со своим отцом, отставным майором, в убогой, пыльной квартирке в пригороде. Раз в неделю он ходил к ней в гости, раз в неделю приглашал в театр, в кино, а то просто куда-нибудь на чашку чая с приторными пирожными. Потом майор умер, оставив ей немного денег, и девица, всем на удивление, тут же выскочила замуж за пожилого преподавателя английского языка из Америки и уехала с ним то ли в Салоники, то ли в Халкис или Патрас, где ему предложили новую работу.

— Сын ужасно расстроился,— говорила Фроссо; на самом же деле ему было все равно.

Собаки обычно тяжело переживают потерю хозяек, но на Мими, как ни странно, внезапная кончина матери не произвела особого впечатления. Выслушав мои соболезнования, он прокашлялся, переложил портфель из руки в руку и сказал:

— Да, спасибо, спасибо,— и добавил:— Если уж ей было суждено уйти, то лучшего и не придумать.

Мы разговаривали на пороге ее квартиры. Зайти он мне не предложил. Может быть, собирался куда-нибудь уходить или просто тяготился беседой. На нем был черный галстук с тугим узлом и черная повязка на рукаве, которую, без сомнения, приметала ему Элени. Мне хотелось ее повидать. Что с ней теперь станется, с толстой, глупой и капризной Элени? Ей будет явно не хватать бурных ссор с Фроссо, а еще больше — удовольствия сокрушенно покачивать головой над ее сумасбродными выходками.

— Увидимся на похоронах,— сказал я.

— Все будет очень скромно.— Ответ прозвучал так, будто он не хотел меня там видеть. Но избавиться от меня или от поклонников Фроссо было не в его власти.

Кладбище кишело: хоронить Фроссо пришли буквально сотни людей. Фоторепортеры, словно какие-то огромные птицы, облепили мраморные мавзолеи. Властно покрикивали операторы телевидения. Юркий человечек с большим магни-

тофоном через плечо сновал между знаменитыми актерами, певицами и политиками, подсовывая микрофон то одному, то другому. На надгробьях играло зимнее солнце: оно поблескивало на каменных локонах девушки, которая склонила лицо с веснушками мха на носу над клавишами мраморного рояля; на забрызганной птичьим пометом лысине государственного деятеля — заложив руку за лацкан визитки, он выглядел так, будто очень хочет, но никогда уже не сможет почесать под мышкой; на скуластом лице и кружевной сорочке пожилой матроны, откинувшей голову на мраморный манускрипт вместо подушки. Каблуки хрустели по гравию или чавкали в мокрой траве. Те, что повыше ростом, вертели головами, как антеннами; низенькие привставали на цыпочки и слегка подпрыгивали. Над гулом, похожим на гуденье пчел перед вылетом из улья, взмывали всхлипы, стоны или протестующие возгласы: «Нет уж, позвольте!», «Осторожней, тут нога!», «Уберите зонтик!» Священник с лохматой бородой и крючковатым носом, театрально, нараспев служивший панихиду, иногда замолкал и окидывал толпу суровым взглядом, напоминая, что это все-таки религиозный обряд. Рядом с ним, склонив голову, стоял с чуть заметной ухмылочкой Мими. Портфель он держал обеими руками перед собой, как бы прикрывая половые органы.

Когда первые комки застучали по крышке гроба, за спиной священника пронзительно закричала Элени и стала вырываться из удерживающих ее рук — черная шляпка с вуалью, напоминающей сетку от пчел, сбилась, на щеках синяками стыла краска для ресниц, губы в яркой помаде были перекошены болью. Бледная, толстая — я такой никогда ее не видел, — она вдруг рухнула на колени, порвав о гравий черный чулок и ободрав ногу. Болтовня смолкла, над толпой взметнулись стоны и рыдания. Один Мими выглядел спокойным, лишь рассеянно оторвал руку от портфеля и стряхнул с плеча упавший лист. Второстепенные актрисочки закорчились в пароксизме горя, словно пробуясь на главную роль. Банкир, бывший недолго любовником Фроссо — она его бросила из-за жадности; — вытащил носовой платок

размером с косынку и на прощание трубно высморкался. Один из кредиторов, такого же внушительного вида, что и банкир, запричитал: «Фроссо! Фроссо! Фроссо!»— будто молил ее выбраться из могилы и подписать ему чек.

Когда наконец толпа потянулась с кладбища вниз по склону, Элени тронула меня за рукав. Ее колено (сама ли она позаботилась или кто другой) было перевязано платком, но шляпка с пчелиной вуалью все еще сидела криво, а на щеках темнели синяки краски. Глаза ее тем не менее смотрели убаженно, будто она только что вкусно разговелась после долгого поста.

— Вы пойдете с нами к Фроссо?

Я неуверенно пожал плечами.

— Мими просит,— сказала она шепотом.— Будет лишь узкий круг.

Мне всегда претило причислять себя к «узкому кругу», который жил за счет Фроссо и в конце концов пережил ее, но отказаться было невозможно. Я кивнул. Тем же жестом, что и Фроссо, когда мы шли куда-нибудь, Элени взяла меня под руку. Раньше она ко мне не прикасалась.

«Узкий круг» сидел тесным кружком. На лакированных золотистых столиках с тонкими ножками стояли раскрашенные вручную французские чашечки с мутноватым кофе и зеленые тарелки в форме листьев салата, как в детском кафетерии; в каждой лежало крошечное пирожное и совершенно немыслимая вилочка с зубцами разной толщины. Нет, вкуса Фроссо всегда явно не хватало.

— Как много народу пришло на кладбище!

— Она бы порадовалась. (Что-что, а к аншлагам Фроссо привыкла.)

— Прекрасный голос у этого священника. (Брат священника был знаменитым актером.)

— А сколько цветов!

— Никогда не видела на похоронах столько цветов.

— Фроссо их обожала. (Даже в середине зимы, когда мы выходили из бара или ресторана, она останавливалась

у лавки напротив отеля Grande Bretagne и безрассудно, охапками, наваливала их мне на руки, а потом такими же охапками продавщица нагружала ее саму.)

— А Превелакис был?

— Был. Я его видел. И Кондолиса видел.

— Пришли все. (Фроссо всегда приглашала на вечеринки бывших любовников.)

— Эклеры восхитительны!

— Мне вредно, но устоять нет сил...

— Они явно из «Floka». (Фроссо часто сиживала за столиком перед кондитерской «Floka» и, позвякивая брелоками на золотых браслетах, тянулась то за одним пирожным, то за другим.)

— А где Мими?

Мими, примостив портфель на полу, сидел тут же, чуть в стороне от «узкого круга», в кресле с прямой спинкой. Он устраивался так всегда, и всегда, как и сейчас, его не замечали.

— Тебе ее будет не хватать, Мими.

— Нам всем будет ее не хватать.

— Но Мими больше, чем другим.

Мими молчал. Его костлявые ноги были прижаты друг к другу. Костлявые руки безжизненно, одна на другой, лежали на коленях. Тесный воротничок сдавливал худую длинную шею, а на сером невыразительном лице застыла прежняя еле заметная ухмылочка.

Казалось, все чего-то ждут, и я вдруг понял, в чем дело. Мы ведь очень часто ждали тут Фроссо; сидели, перекидываясь пустыми, скучными, вежливыми словами, и ждали. Она могла пригласить на чай, коктейль, обед, а потом опаздывала или вовсе забывала. Еще мы часто ждали, пока она принимала после концерта ванну и переодевалась во что-нибудь удобное и «простенькое». Тогда через коридор, увешанный ядовито-яркими акварелями островов (их написал бездарный французик, которому она покровительствовала и которого ненадолго сделала любовником), в гостиную ползли резкие запахи. А это «простенькое», когда она входила,

всегда оказывалось мягким, свободным, с перьями и до полу. «Привет, дети мои!» Она направлялась к бару и наливала в бокал анисовки, которую любила больше всех модных и дорогих водок, джинов и виски. «Ну, как я?» После выступлений Фроссо никогда не спрашивала «Ну, как вы?», а только «Как я?». Потом она чмокала кого-нибудь из «узкого круга» в щеку, а другому в то же время протягивала руку для поцелуя.

Мими, видимо, одолевали сейчас те же воспоминания: неловко оттопырив локти, он встал, направился к бару и налил себе анисовки.

— Элени, где лед?

— В ведерке.

Мы наблюдали за ним. Обычно Мими не пил, анисовку тем более. От кубиков льда в бокале завертелись мутные круги — один, другой, третий. Словно решая, пить или не пить, он поднял бокал повыше, к острому подбородку; его бледно-зеленые глаза под высокими дугами бровей затуманились, стали отсутствующими. А потом Мими медленно вернулся к креслу, у ножки которого примостился его портфель.

— Что теперь станется с концертом на телевидении?

— Она не успела отснять и половины.

— Отменят, я думаю,— и все дела.

— В следующей программе она обещала мне работу.

— И мне обещала.

— И мне.

В их словах слышалась обида. Фроссо ничего не стоило забыть про свидание, но не про просьбу.

— Так и ждешь, что дверь сейчас распахнется и она войдет.

— Нет, ей никогда уже не войти.

— Никогда.

И все же, не прекращая пустой, скучной, вежливой болтовни, «узкий круг», казалось, чего-то ждал. Я поднялся налить себе чего-нибудь покрепче, чем кофе, и только тут с удивлением заметил, что Мими исчез. Его бокал и портфель

тоже исчезли. Возможно, он устал от нас. А может, как пес, до которого не сразу доходит, что хозяйка на этот раз ушла навсегда, Мими только сейчас осознал безвозвратность потери. Время шло, он не возвращался.

В конце концов я подошел к Элени, которая кокетливо хихикала над шутками престарелого boulevardier*.

— Где Мими?

Она пожала плечами и скорчила мину. Ей не было дела. Никому не было до него дела.

Только один я заметил, что в комнату, где мы сидели тесным кружком, из коридора стали ползти резкие запахи. Неужто у меня галлюцинация? Я хлебнул коньяку.

— Как много народу пришло!

— Она бы порадовалась.

— У священника прекрасный голос.

— А цветов-то, цветов!

Будто невидимая рука приподняла головку проигрывателя и опустила на ту же пластинку.

— А Превелакис был?

— Был. Я его видел. И Кондолиса видел.

Из коридора долетел шелест чего-то мягкого, свободного, с перьями и до полу. Дверь распахнулась.

— Привет, дети мои!

Фроссо, сама Фроссо в пеньюаре из лилового шифона, который чудовищно не шел к огненно-рыжему парику с дурацкими завитушками по плечам. Держа в руке бокал и покачиваясь на высоких каблуках домашних туфель — их розоватый цвет чудовищно не шел ни к парику, ни к пеньюару, — она направилась к бару. В удивлении мы устались на нее, а когда, позвякивая брелоками, она взяла бутылку анисовки, две актрисочки даже тихонько взвизгнули. Тут она повернула к нам лицо, заляпанное густым месивом грима, и спросила:

— Ну, как я? — Ее голос был невероятно низким, еще ниже, чем обычно.

— Мими!

* гуляка, прожигатель жизни (франц.).

— Мими!

— Me chiamano Mimi! Non so perche*,— пропела она и, как всегда с наслаждением развалилась в кресле, повернулась ко мне:— Миленький, будь ангелом, дай сигаретку.

Своих у Фроссо никогда не бывало.

Я вытащил сигарету, по привычке прикурил и только тогда протянул ей.

— Спасибо, миленький.— Она глубоко затянулась.— Очень хотелось курить.

Мими никогда не курил.

— Чего приуныли, дети мои?— Она пригладила рукой волосы; красный лак на ногтях чудовищно не шел к огненно-рыжему парикю.

— Мими!

— МИМИ!

— К черту кофе, давайте-ка выпьем анисовки. Где Элени? Терпеть не могу эту светскую скуку! Элени!

Элени, как лунатик, встала, дохромала до бара и дрожащими пальцами принялась доставать бокалы.

— И наливай полнее, не жадничай.

Бутылка застучала о края бокалов.

— Ваше здоровье, дети мои!

— Ваше здоровье!

Что нам оставалось делать? Мы выпили, украдкой поглядывая друг на друга, и опустили глаза.

— Элени, доливай! Куда делась эта баба?

Элени встала со стула за тахтой и снова захромала к бару.

— А не надратся ли нам по-настоящему, дети мои?

Бокалы были наполнены до краев, и сначала как-то неуверенно, а потом все с большим воодушевлением мы стали пить.

— Пошевеливайся, Элени!

Ко всеобщему удивлению, Элени на этот раз, как в старые времена, огрызнулась:

— Чего это ты раскричалась? Тебя что, вежливости не обучали?

* Меня зовут Мими! Не знаю почему (итал.).

— Ах ты боже мой! Не хочешь работать у меня, возвращайся на панель в Пирей.

Бормоча себе что-то под нос, Элени снова налила анисовки.

— Будем здоровы!

— За здоровье!

Несколько человек опорожнили бокалы одним духом.

— Элени!

— А вы не перепьетесь?

— Нам того и надо! Давай, давай!

Зашелестев шифоном, Фроссо выкарабкалась из кресла, покачиваясь, прошла к углу, где стояла дорогая радиолка, и стала копаться в пластинках со своими песнями — других в доме не держали. Затем, вынув один диск из конверта, чуть ли не бросила его на радиолу. Из динамиков по сторонам каминки понеслось брэнчание — пластинка была старая, и от этого бузуки еще сильнее напоминали дребезжание пустых консервных банок. Нетвердо вступив в середину нашего круга, она развела руки в стороны, открыла рот и, покачиваясь в такт, запела:

— Pame sta bouzoukia... Пошли скорее в таверну, где бузуки...

Это была одна из самых старых песен Фроссо, чуть ли не первая запись; я помнил ее еще по душным звездным ночам в таверне около Odos Syngrou. Boulevardier принялся тихонько хлопать в такт. Голос, властно прорезающий музыкальное сопровождение, словно нож масло, казалось, шел не из динамиков, а из размалеванного красной помадой рта — как в тех дешевых эстрадных выступлениях в Лондоне, где мужчины переодеваются в женские платья.

— Bravo!

— Спой «Strose to stroma sou...»*

— Нет, лучше «Then eimai o Giorqos sou...»**

— Позже, позже, дети мои. А сейчас дадим голосу передышку. — Она плеснула анисовки в чей-то бокал и залпом осушила.

* «Застели-ка постель...» (греч.).

** «Я не то, что твой Георгос...» (греч.).

— Элени! Поставь-ка hassapiko*. Давай шевелись.

Все еще бормоча что-то себе под нос, Элени начала перебирать пластинки.

— Кто пойдет со мной танцевать?

— Я!

— Я!

Четверо мужчин в траурных костюмах и взъерошенное существо в огненном парике и розовых туфлях положили друг другу на плечи руки и, притопывая, начали танец. Растерянно, с восхищением и ужасом смотрел я на них из темного угла. Мне вспомнились рассказы про отдаленные деревушки Македонии, где и по сей день перед погребением живые по очереди кружатся в обнимку с трупом вокруг крестьянских домишек. В гостиной сейчас, хотя труп был ненастоящий, шел тот же обряд — танец во имя жизни, наслаждения, радости — всего того, чего Фроссо всегда было в избытке. Музыка гремела все громче и громче, танцоры плясали все неистовей. Одна из розовых туфель соскочила, другая полетела ей вдогонку. Ногти на ногах были того же ярко-красного цвета, что и на руках. По корке грима катились капли пота. Лиловый шифон темнел под мышками и у талии мокрыми пятнами.

Грохот музыки оборвался.

— Bravo, Фроссо! Bravo! За твоё здоровье! — Смеясь и галдя, все вскочили. Приземистый лысый человечек — я узнал в нем врача Фроссо — взял одну из зеленых тарелок и швырнул ее на пол так, что брызнули осколки. Актрисочка последовала его примеру, но ее тарелка, подпрыгнув на ковре, осталась целой. Кто-то хватил об пол еще одной.

Вдруг потное, взъерошенное существо в лиловом пеньюаре, тяжело дыша, подняло руку, закрыло заляпанное гримом лицо и бросилось из комнаты. В дальнем конце коридора хлопнула дверь.

«Узкий круг» молча переглянулся. Один пожал плечами. Другой нервно хихикнул. Кто-то предложил пойти посмотреть, что с Мими. Кто-то начал собирать осколки.

* Греческий народный танец.

Пойти придется вам,— сказали они мне.

— Да, да. Пойдите, пожалуйста. Вы же знаете Мими лучше нас.

— Да, вы пойдите, вы.

— Вы!

Но кто из нас знал Мими? Никто! И тут мы были равны. Элени подтолкнула меня, и я, помню, зашелся от глухой злобы. Еле сдержался, чтобы не влепить ей пощечину.

— Идите же, идите.

Я пошел.

На огромной двуспальной кровати валялся, как мертвая зверюшка, огненно-рыжий парик, а рядом, спиной ко мне, уже раздетый, уткнув лицо в лиловый шифон, по-детски рыдал Мими, повторяя одно и то же слово:

— Мама. Мама. Мама.

Я подошел, протянул руку, но тут же отдернул ее. Потом, наступив на что-то, я глянул вниз и увидел подбитую ватой чашечку лифчика.

— Мими!

Он продолжал горько плакать:

— Мама. Мама. Мама.

Я вернулся в гостиную.

— Давайте уйдем,— сказал я.— Лучше, если мы уйдем.

— С ним все в порядке?

— Вы уверены?

— А что он делает?

— Все в порядке,— сказал я.— Все в полном порядке.

Молча, один за другим, «узкий круг» двинулся из квартиры; шествие замыкала Элени.

Методом перевода

Это — комната. Что это?

Это комната.

Это — гостиничный номер. Это какая комната?

Это гостиничный номер.

Дорогой номер — самый дорогой за всю мою жизнь. Это дорогой номер?

Да, дорогой.

Метод прямого общения. Лиз чудится голос Милдред — или то его эхо? (Милдред давно молчит, на письма в Канаду нет ответа, может, она умерла) — Милдред, занимающейся с учениками в гостиной.

Кто — Милдред?

Милдред — учительница.

А еще Милдред (была когда-то) — квартиросъемщица; в Японию судьба занесла ее с мужем, военным летчиком, впоследствии не то оставившим ее, не то отвергнутым ею (версии менялись столь же стремительно и необъяснимо, как и настроение самой Милдред), и ей пришлось зарабатывать на жизнь уроками.

Метод прямого общения. Но та же Милдред всегда говорила, что японцы, столь склонные к обинякам, не приемлют его. Для них доступнее косвенный метод — сухого, дословного перевода. Рыбы не имеют ни рук, ни ног — *Сакана нива тэ мо аси мо аримасэн*. Что-то в таком духе. Милдред божилась, что видела этот пример в пособии для начинающих, составленном каким-то японским профессором. Но столько странных, а подчас драматичных событий, которые живописала Милдред, оказывалось химерами, рожденными ее неуемной фантазией! Может (порой гадали Том и Лиз), и офицер ВВС, супруг Милдред, тоже из их числа?

Это — комната. Это — гостиничный номер. Это — дорогой гостиничный номер.

В нем две кровати, тщательно, без единой морщинки заправленные покрывалами, — лишь один уголок откинут белоснежным треугольничком с выпущенной поверх простыней. Два кресла, две прикроватные тумбочки с ночниками и томиками гидеоновской Библии в выдвижных ящиках. В ванной два личных и два банных полотенца, два стакана в стерильной бумаге и запечатанные полоской бумаги биде с унитазом.

Вам, наверное, хочется остаться одной, сказал в вестибюле профессор Ито. Но суть была в том, что это профессор хотел оставить ее одну, ибо рвался в лабораторию, несмотря на десятый час вечера. Вы, должно быть, устали, а завтрашний день будет весьма напряженным. Ему трудно свыкнуться с мыслью, что та молодая и неопрятная женщина с целым выводком ребятишек, когда-то едва справлявшаяся с работой в баптистской клинике, ныне признанный авторитет в области диабета. В прежние времена профессор Ито опекал ее, как опекал ее мужа, тоже врача. Он готов опекать ее и сейчас, но, озадаченный и чуточку раздраженный, чувствует, что больше не может ей покровительствовать.

В сущности, Лиз вовсе не жаждет остаться одна; одиночество — за исключением тех часов, когда она занята делом, — совершенно ей непривычно. Будь номер дешевле, до нее доносились бы звуки и шумы соседних номеров: рев воды в туалете, бормотание радио, голоса, распаленные яростью или страстью. Но это дорогой гостиничный номер.

Стены обиты переливчатым серым шелком, и в свете ламп кажется, что по ним текут вниз прохладные ручейки; на самом же деле прохлада исходит из решетки кондиционера, с которой, извиваясь и трепеща в токе воздуха, свисает пучок голубеньких ленточек — свидетельство, что кондиционер исправен. Абажуры на лампах тоже серого шелка, только немного темнее, и темно-серый пушистый ковер на полу. Спинки кроватей и стулья обтянуты *toile de Jouy** в бело-багровых тонах; из той же ткани портьеры. Рисунок на материале (дама качается на качелях, чуть не до плеч вихрем взметнулись юбки, внизу — коленопреклоненный кавалер, играющий на струнном инструменте) — без сомнения, Фрагонар**.

Лиз начинает распаковываться. От Токио она ехала на сверхскоростном экспрессе — «пуле», и, измочаленной, оту-

* Сорт плотной набивной ткани с рисунком. Начал производиться во французском городе Жуи с конца XVIII века.

** Фрагонар, Жан-Оноре (1732—1806) — французский живописец и график, знаменитый виртуозно исполненными галантными и бытовыми сценами («Счастливые возможности качелей», 1768).

певшей от скоростей, Лиз кажется, будто ею самой кто-то выстрелил прямо сюда, в этот номер,— за сотни и сотни миль. Есть совершенно не хочется, только пить, пить, пить. В ванной она видела маленький краник с надписью на японском, английском, французском, немецком: вода охлажденная, питьевая. Лиз распечатывает стакан, наполняет его водой. И, сидя в недвижной, безжизненной комнате, пьет совершенно безвкусную жидкость. Стерилен воздух, стерильна вода. Прижимая к губам холодный ободок пустого стакана, Лиз отрешенно смотрит на телевизор. Он прикрыт занавеской, но не *toile de Jouy*, а пунцового бархата — словно на скрытом от глаз экране может происходить нечто постыдное.

Надо позвонить Ямаде-сан, миссис Пэйн — в баптистскую клинику, Бэнсонам и Ёсико... Нет, ничего этого сейчас она делать не станет. Потом. А позвонит она Осаму.

Телефон перламутрово-розовый и блестящий. Ах, Осаму, частенько говорила она, будь так добр, дозвонись для меня по такому-то номеру. От японских телефонов можно просто сойти с ума... Но этот работает превосходно. Трубку снимает женщина («*Моси-моси!*»*), и, конечно же, это жена Осаму, с которой Лиз никогда не встречалась, только видела на цветной фотографии — красавица в кимоно с изогнувшимся на бедре драконом.

Минутку! Пожалуйста!

Супруга Осаму, Норико, должна знать, кто это — Лиз. Ее голос звучит взволнованно.

Миссис Батлер... Осаму довольно хихикает. Вы приехали, наконец-то!

Он был у нас мальчиком на побегушках. Кем был Осаму?

Он был у вас мальчиком на побегушках.

Он познавал английский в прямом общении. Он учился ему, спрашивая и отвечая, у нас и наших детей. А не у Милдред или в школе.

Осаму хочет приехать сию же минуту, но у Лиз все еще ощущение, будто ею выпалили из ружья, и уже около десяти, а он — Лиз знает, Осаму писал ей об этом — живет те-

* Алло, алло! (япон.)

перь где-то на самой окраине, почти у подножия Арасиямы. Лучше завтра, говорит она. Хорошо, завтра, соглашается он; он заедет к ней по дороге на службу.

А стало быть, поскольку здесь Япония, а не Англия, он приедет к ней в половине восьмого.

Мы можем позавтракать вдвоем.

Он колеблется: он не знает, но в любом случае он заедет.

Они завтракали все вместе, и Осаму тоже завтракал с ними. Хотя это было уже под конец — не сначала, когда он только что поселился у них и ел отдельно, на кухне. Но и за общим столом он охотнее ел свое — рис с маринованными овощами. От овощей шел острый, чуть отдававший гнилью дух, от которого, признавался ей Том, его просто с души воротило. Еще Осаму готовил на утро суп, заливая горячей водой порошок из каких-то пакетов, и с сопением и хлюпаньем цедил его из чашки. Том говорил, что от сопения его тоже воротит с души.

Лиз кладет трубку на рычаг. Виски разламываются от боли, и хотя она только что выпила целый стакан ледяной воды, во рту и в горле опять мучительно сухо. Наверное, от кондиционера. А может, от нервов. Только сейчас она замечает под рядом ящичков встроенного шкафа маленький холодильник. Верно, забит бутылками, которые она никогда не откроет.

Портьеры отдернуты и свисают такими идеально симметричными складками, что либо горничная потрудилась на славу, либо их вообще никогда не задергивают. За портьерами вместо обычной оконной рамы изысканные *сёдзи** — перекрестья из светлой хрупкой древесины, каждый квадратик затянута отливающей перламутром бумагой, в тон телефонному аппарату. В комнате такая мертвая тишина, что Лиз невольно задумывается: а что там дальше, за этими *сёдзи*? Крохотный садик, любовно выращенный сморщенным человеком на скрюченных ножках, похожих на лапы старого петуха? (Осаму всегда сгребал листья сильными,

* Раздвижные перегородки в японском доме, главным образом отделяющие комнату от открытой веранды.

ритмичными рывками.) Речушка, приток Камогавы, с горбатеньким мостиком и повисшими вдоль берегов безвольными пальцами ив? (Осаму, красный и слегка захмелевший от двух порций виски, перевесился рядом с нею через перила, шурясь вниз, на почти неподвижную воду.)

Лиз подходит к окну. ПРОСЬБА НЕ ОТКРЫВАТЬ. Надпись на английском и, как все остальные инструкции в номере, на японском, французском, немецком. Но Лиз нужно открыть, очень нужно, нужно увидеть, что там, за *сёдзи*. Они поддаются с трудом, но наконец медленно и со скрипом начинают скользить в пазах.

В четырех (или пяти?) футах от нее уходит ввысь абсолютно глухая стена. Лиз высовывается наружу и выгибает шею, пытаясь заглянуть вверх. Вверху колышется султанчик дыма, и кольца его, расплываясь, медленно тают в воздухе. Лиз переводит взгляд вниз. Далеко-далеко под ней тянется вымощенный булыжником проход, но где начало и где конец — рассмотреть невозможно.

Лиз задвигает *сёдзи*. Теперь — забыть. Забыть о том, что посмела нарушить запрет. Забыть про глухую стену напротив и загадочный султанчик дыма вверху. Про дорожку внизу, такую невысказанно узкую, что там протиснется разве что крыса. Пусть по-прежнему будет крохотный садик, или речушка, приток Камогавы, или вид далекой горы Хиэй, где Осаму кричал: Миссис Батлер! Смотрите, смотрите! Вон обезьяна! Много обезьян! — и правда, серые обезьяны, пронзительно тараторя, раскачивались и скакали — с ветки на ветку, с лианы на лиану.

Спокойнее. У тебя не может быть приступа клаустрофобии. Пока колышется в токе воздуха под решеткой кондиционера пучок голубеньких ленточек, здесь невысказанно задохнуться.

Это — комната. Что это?

Это тюрьма.

Нет, это — комната. Это — дорогой гостиничный номер. Что это?

Это тюрьма.

Осаму носил деревянные сандалии, рубашку в сеточку (обноски Тома) и джинсы фирмы «Сент-Мартин». Сейчас на нем черные ботинки в паутинке трещин на сгибах, в узкую голубую полоску костюм — брюки коротковаты, и из-под них торчат синие носки с альми стрелками, — синтетическая сорочка и синий галстук с тугим, словно готовый лопнуть бутон, узлом. Раньше Осаму стригся так коротко, что сквозь ежик светилась кожа. Теперь его волосы разделены ровным, как нитка, пробором, зачесаны и густо напомажены. Осаму был хорош собой. Он хорош собой и сейчас.

Вы совершенно не изменились, восклицает он. Целых пятнадцать — нет, шестнадцать лет! А вы все такая же!

Но они изменились оба. У Лиз в волосах седина и вид степенно-солидный, что немало конфузит Осаму; ее же смущают припадки его хихиканья.

Кофе? А может, чаю? Ну, хоть что-нибудь?

Он качает головой и глядит на часы; Лиз, сидя за столом напротив, рассеянно вертит столовый нож. Он очень боится опоздать на службу, а к ним с Томом частенько опаздывал.

Как Том и дети? — спрашивает он и недоверчиво смеется, когда Лиз говорит, что Анна вышла замуж и родила ребенка, Адриана учится в Оксфорде, а Джерри уже играет за школу в крикет. Обо всем этом она писала в тех письмах, что время от времени посылала ему. Да читал ли он их, как всегда читала она весточки от него?

Он опять глядит на часы. Часы электронные, со множеством операций, и она знает, каким был бы приговор Тома: вульгарно. Браслет золотой, но сомнительно, что это чистое золото.

Миссис Батлер...

Она улыбается и поправляет: Лиз.

Лиз... Нет, право, ему неловко называть ее так. Пора, говорит он, он должен открыть контору — ключи у него. Нет-нет, не надо вставать, не надо прерывать завтрак.

Но она идет за ним следом в холл, там он говорит: Я наведу вас в субботу. Не вопрос — утверждение. И прибавляет: К сожалению, на неделе я занят.

Я тоже занята на неделе. Профессор Ито уже вручил ей программу, каждый день на отдельном листочке, вся пачка скреплена и подшита в картонную папку — точно книга в бумажной обложке.

Я приеду к вам на машине, и мы отправимся, куда вы захотите.

На машине! У тебя теперь есть машина?

Он хихикает: Очень старая.

Обычно за руль садился Осаму, потому что Том терпеть не мог крутиться по здешним узеньким улочкам, а Лиз тогда еще не умела водить. Осаму любил ездить быстро, притирая и обгоняя большие машины. Он неоднократно попадал в мелкие дорожные происшествия, пока Том не пригрозил, что вычтет из жалованья, хотя каждый счет за ремонт с лихвой покрыл бы весь месячный заработок Осаму.

Лиз промокает платочком губу. Ранний час, а такая жара, жалуется она.

Пожалуйста, возвращайтесь к столу, продолжает настаивать он, но Лиз бестактно упорствует: она хочет видеть его машину.

У гостиницы среди новеньких — либо почти совсем новеньких — японских «тоёт», «датсунов» и «хонд» несколько американских лимузинов. Японец в резиновых перчатках, в ослепительно белой рубашке с короткими рукавами и джинсах поливает из шланга бронзовый «роллс-ройс» с номером дипломатического корпуса.

Моя машина очень старая, повторяет Осаму.

Лиз не отличила бы ее от любой машины на улицах Лондона, но, взглядевшись, она замечает: да, всюду ржавые пятна.

Другая машина мне не по карману, говорит он.

Машина как машина, не понимаю, чем она нехороша. Наша малолитражка просто гроб на колесах. Она умалчивает о том, что у них с Томом еще и новейшей модели «пежо».

Я заеду за вами в субботу. Около одиннадцати. Утверждение — не вопрос.

Чудесно. Также утверждение. Она проделала весь этот путь отнюдь не ради профессора Ито и его коллег с ме-

дицинского факультета Университета Киото. Ради него, Осаму.

На жене Осаму персиковое кимоно. Она семенит к Лиз, опускается на колени и, сложив ладони и глядя в пол, кланяется. У нее слишком вытянутое лицо и орлиный нос, чтобы считаться красивой на Западе, но Лиз знает, что здесь, в Японии, она очень красива. Она кажется удивительно хрупкой, и в то же время у Лиз ощущение странной, не наступающей — уступающей силы. Девочка четырех лет с подстриженной, как по линейке, челкой через весь лоб — тоже в кимоно. И семилетний мальчик — в лаковых туфельках на ремешке, вельветовых черных штанишках и с бантом в красный и черный горошек на шее. У него материнский, с орлиной горбинкой, нос.

Осаму беспрестанно хихикает, сконфуженный и довольный. Лиз привезла всем подарки: Норико — шарф от Пьера Кардена (может быть, кимоно Норико носит лишь по торжественным случаям?), девочке — куклу, мальчику — три машинки старинных моделей, Осаму — шерстяной пуловер. Девочка, похоже, довольна, про остальных сказать трудно. Этим троих, видно, гнетет тяжелое бремя вечной японской проблемы — морального долга и его оплаты. И верно, в ту минуту, что они рассматривают подарки, которые Лиз заставила их развернуть, — хотя в Японии не принято делать это в присутствии самого дарителя, — и восклицают: Какая прелесть! Ах, как любезно! — все украдкой пытаются подсчитать: сколько она заплатила? Девочка качает куклу и пристально смотрит, как та открывает и закрывает свои голубые пустые глаза.

Моя жена плохо говорит по-английски, объясняет Осаму. Совсем чуть-чуть.

Это не страшно. Ты ведь можешь переводить ей.

Сукоси, сукоси, повторяет Норико, что означает: Чуть-чуть, чуть-чуть.

Некоторое время все в замешательстве стоят в прихожей, точно не зная, что сказать или сделать теперь. Наконец

Лиз осеняет: может, дети хотят мороженого или лимонаду, а Осаму с Норико — кофе или чаю?

Но Осаму говорит: Поехали.

И низким шипящим голосом прибавляет что-то по-японски, обращаясь к Норико и отвернувшись от Лиз. Норико невозмутимо кивает, улыбается, кланяется.

Они останутся дома, говорит он. И будут ждать нас.

Но разве им не хочется тоже пойти с нами?

Мы поедem одни, так будет лучше. Вдруг дети устанут или им станет плохо. Жена сводит их в сад. Кстати, вы видели сад при гостинице?

Она борется с искушением рассказать, что она видела за нарядными *сёдзи*. Нет, отвечает она, еще не видела.

Там очень красивый сад.

На стоянке он шагает к машине — но не к той, на которой приезжал к ней в гостиницу, а к огромному, сверкающему «датсуну», словно только что снятому с витрины автосалона. Неуверенно крутит ключом, как человек, пытающийся открыть незнакомый замок.

Но ведь... Ей не следовало произносить этого; она сознает ошибку, еще не закончив фразы.

Он вспыхивает: Моя совершенно сломалась. Она разваливается на куски, я говорил, она старая! И я одолжил машину... у друга.

Это, конечно, неправда. Он взял ее напрокат, понимая, что посадить ее, иностранку и знаменитость, гостью университета, в свою разбитую колымагу будет невероятным позором — и для нее, и для него, и даже для университета,— заметить кто и опознай в пассажирке Лиз.

Машина просто шикарная.

Она забирается внутрь. Интересно, сколько он выложил за нее? Вряд ли он зарабатывает много. Но предложить заплатить пополам — значит совсем все испортить.

Мы едем к тому дому. Утверждение, не вопрос.

«Тот» дом означает дом, где она жила с Томом, тремя детьми и этим вот молодым бизнесменом — в ту пору студентом и их прислугой. Мюриэль тоже жила в нем, но поче-

му-то об этом Лиз всегда забывает. Тогда дом стоял в богатом квартале городского предместья, но теперь, когда там проложили кольцевую дорогу и снесли немало старых особняков, чтобы на их месте понастроить коробок, квартал потерял свой блеск.

Они едут медленно, прерывая молчание лишь тогда, когда проезжают знакомое место.

А куда же девалась миссия сервитов*?

Они переехали: слишком велико помещение, слишком мало денег.

Смотри-ка, а вон закусочная, где мы ели те кошмарные спагетти, когда мне было лень готовить, помнишь?

Теперь здесь очень дорогой ресторан. Европейская кухня.

М-да... Те спагетти вряд ли можно было назвать европейской кухней!

А баню вы помните? Спрашивает Осаму.

Поздно вечером, читая в гостиной книгу или лежа в спальне около Тома, она издали слышала перестук его деревянных *гэта*** по дорожке от бани.

А собачий приемник? Показывает Лиз.

Осаму ходил туда и разыскал их потерявшегося лабрадора. Сам он не любил собак, но из-за этого лабрадора дети капризничали весь день.

Они сворачивают в проулок, ведущий к их дому. Дорога кажется Лиз уже, грязнее и запыленнее, чем прежде, а деревья — значительно выше. Деревянный забор у дома был когда-то высоким и крепким. Теперь он местами совсем покосился, в одном из углов зияет дыра, заткнутая ржавым мотком колючей проволоки. Лиз чувствует легкую дурноту и страх. Через провалы в заборе видно, что сад совсем одичал. Будто все, что она, Том и Осаму вложили в него, был только сон — как те мудреные формулы, что она «пишет» порой по ночам, но никогда не помнит, проснувшись.

* Сервиты — (Слуги Пресвятой девы Марии) — нищенствующий орден, основанный в 1233 г. во Флоренции.

** Гэта — японская деревянная обувь.

Осаму останавливает машину, и Лиз замечает, что он дышит с трудом, словно взобравшись на вершину горы, где не хватает воздуха. Он выходит и распахивает ее дверцу, а она, меняясь в лице и бледнея, нерешительно выбирается из машины. Он берет ее под руку — легким, едва ощутимым прикосновением — только затем, чтоб поддержать на неровной дороге, на выщербленных ступенях. На двери теперь много звонков, вместо одного, медного, который Осаму надраивал так старательно и любовно, все разные — большие и маленькие, с табличкой под каждым; имена написаны где латиницей, где иероглифами. После секундного колебания он нажимает одну из кнопок, опередив вопрос Лиз: Мы что, войдем?.. Мисс Маккриди, говорит он. Но Лиз и сама уже прочитала имя, единственное, которое можно здесь разобрать.

Мисс Маккриди отворяет дверь левой рукой, потому что правая, плотно прижатая к боку, дергается в безостановочном тике. За секунду до этого Лиз уловила за дверью характерное шарканье, и, как врачу, ей понятно: это гиперкинез; у мисс Маккриди, возможно, начальная стадия болезни Паркинсона. Старуха, насупившись, изучает Лиз и никак не может поверить, что эта разиня-англичанка, вечно все забывавшая и всюду не успевавшая, теперь знаменитость. Мисс Маккриди была у них в клинике старшей сестрой и обладала властью большей, чем любой из врачей, но теперь она не работает, хотя время от времени захаживает — «помочь», как называет это она, или «сунуть нос не в свои дела», как называют это медсестры.

Мой бог! — восклицает она, и левая рука ее взлетает к губам. Лиз никогда не слыхала, чтобы американка говорила: Мой бог! — разве только в кино, но вот она, мисс Маккриди, такая, как прежде — с багровым румянцем, с пышной грудью и пышной прической — внушительным зиккуратом из поседевших косичек, все с тем же: Мой бог! — после стольких и стольких лет...

Миссис Батлер желает взглянуть на комнаты, где когда-то жила, поясняет Осаму, и мисс Маккриди приветливо

говорит: Конечно, конечно, разумеется, она может на них взглянуть — на ту половину, где живу теперь я, хотя голос ее неприветлив. Полосатая кошка, длинная и пушистая, выскользнула из дверей и смотрит на Лиз точно таким же неприветливым взглядом.

Лиз хочет сказать: Пожалуйста, не беспокойтесь, лучше я сохранию в памяти всё, как было тогда, но Осаму кивает, приглашая войти, а мисс Маккриди уже шаркает прочь, и кошка бежит за ней, лапаясь и путаясь под ногами.

Дом был огромный и бестолковый, часть — в западном стиле, часть — в японском. Его выстроил в тридцатые годы японский врач-психиатр; несколько комнат занимал он с семьей, остальные — его пациенты. Должно быть, это был несчастливый дом, поскольку в нем поселилось столько несчастий: и сам психиатр нашел свою смерть на Гуаме, уйдя на тот свет прежде жены, потом покончившей самоубийством, и старухи матери, ожесточившейся от невзгод, — она и была домовладелицей и не скрывала ненависти к собственным жильцам. Но теперь, разгороженный портьерами и фанерными дверцами, отделяющими владения многочисленных обитателей, дом кажется удивительно жалким и съезжившимся.

Здесь была их гостиная — по-японски просторная, не загроможденная мебелью комната, и гостям-европейцам приходилось неуклюже сидеть на полу у открытых *сёдзи* летом и подле жаровни с углями зимой. Но *сёдзи* исчезли, теперь вместо них — обычные окна с дюралевыми рамами, жаровню сменил электрический камин. Комнату делит стеллаж; на полках среди японских кукол, старых, расставленных как попало открыток и дешевой керамики валяется несколько книг и старых номеров «Ридерс дайджест» и «Тайм». По эту сторону стеллажа — кровать, она же в дневное время кушетка, застеленная вязаной накидкой, два продавленных кресла и черно-белый телевизор. За стеллажом — раковина, плита, мусорное ведро с педалью и полки с грудой кастрюль, сковород и кульков. Мисс Маккриди была невероятной чистюлей. Теперь мисс Маккриди живет среди

пыли, кошачьей вони и клубов кошачьей шерсти, в комнате с истертым линолеумом и неприбранной на день постелью, чего не может скрыть наброшенное покрывало.

От всего этого Лиз охватывает панический ужас. Ее окружают осколки — вон уцелели *токонома* и маленькое оконце рядом, на нем одном нет дюралевых рам, — но она никак не может собрать недостающие кусочки. Точно разбила любимую чашку и, сжимая в ладонях иззубренные обломки — не все, только те, что нашла, — пытается воскресить — даже не чашку, чашку вернуть невозможно — хотя бы память о ней.

Мисс Маккриди хмуро предлагает им растворимый кофе, но Лиз, не в силах вымолвить слово, только молча качает головой. Тогда мисс Маккриди предлагает спросить у соседей: может, и они покажут Лиз свои комнаты? Но Лиз снова качает головой: Сад... да-да, сад — вот что хотелось бы посмотреть.

Сад... Мисс Маккриди вздыхает. Вы же знаете, как это всегда бывает. Если в ответе все, значит, не отвечает никто. А сама она ничего не может — ее на это уже не хватает, и после того, как съехал тот милый французский студент, все пришло в запустение. Конечно, Джимми так нравился больше, теперь он охотится там, но... — мисс Маккриди трясет головой, и кажется, что голова дрожит в такт руке, — это прискорбно, крайне прискорбно. Лиз не сразу догадывается: Джимми — это кот.

Наконец Осаму и Лиз уходят в сад, а мисс Маккриди — левой рукой она прижимает к подбородку кота, правая дергается в безостановочном тике — провожает их недобрым взглядом. Она никогда не любила, не доверяла Лиз, интриговала и сплетничала о ней. О-о, она всегда задавалась, эта англичанка, а теперь уж и вовсе задрала нос!

Осаму и Лиз идут к пруду, по пояс в траве, продираясь сквозь заросли ежевики. С одинаковой печалью глядят на затянутую толстым ковром зеленой ряски водную гладь. Таким же он был, когда они только въехали в дом, но Осаму сказал, что вычистит пруд и там будут жить золотые рыбки,

а на воде распустятся лилии и другие цветы.

Том уехал с детьми в клинику на традиционный обед, а Лиз, хотя ей, конечно, тоже следовало быть там — мисс Маккриди заметила ее отсутствие и потом не раз пеняла за это, — осталась: на улице слишком жарко, ей нужно вымыть голову, заштопать носки и вообще переделать кучу дел. Осаму объявил, что намеревается вычистить пруд. Он уже не одну неделю собирался этим заняться, но все не мог — таким изнуряюще жарким было то долгое влажное лето.

Лиз вымыла волосы и, оставив штопку и прочие домашние дела, устроилась на веранде с романом в руках и термосом ледяного лимонада; на самом же деле — правда, это она поняла не тогда, а значительно позже — все было только предлог и притворство. С веранды Лиз не видела пруд: он был за домом. И вот она встала и с книгой в руках неторопливо прошла под навесом из вьющихся роз через желтеющую лужайку и нашла Осаму на пруду, почти по пояс в воде. Он рубил и выдергивал заплывшую водоем зелень с каким-то жестоким неистовством, топорик взлетал и снова обрушивался на стебли. Обнаженное тело — только *фундоси*, набедренная повязка, прикрывала его чресла — было в поту и заляпано грязью, грязные брызги застряли даже в бровях и волосах.

Она оценивающе взглянула на него, он ответил ей взглядом, замерев с поднятым топориком. Ни один из них не улыбнулся.

Надеюсь, здесь нет пиявок.

Он рассмеялся. Вероятно, он не знал слова «пиявки». Выпьем? Наверное, совсем запарился.

Он помедлил, потом кивнул и вышел на берег; жижа ручьями стекала вниз по ногам.

Он сел на ствол лежащего дерева — его недавно пришлось срубить, сердцевина совсем сгнила и позеленела, рассыпаясь в прах при едином прикосновении, — а она пошла в дом за джин-физзом*, который теперь так ему нравился. К ее

* Коктейль из джина, сахара, содовой и настойки на горьких травах или корешках.

возвращению грязь на коренастом мускулистом теле уже обсохла. Верхом на бревне, он был похож на туземца.

Они пили в молчании, он — по-прежнему сидя на дереве, она — стоя над ним, и, когда он допил почти до конца, она протянула ему свою руку, протянула легко и свободно. Сколько дней она мечтала об этом и боялась, что никогда не посмеет! Как просто! Она дала ему руку, он принял ее в свою перемазанную ладонь, и она потянула его к себе, поднимая с бревна; они пошли к дому, не разнимая сплетенных пальцев,— Лиз впереди на полшага...

Осаму дергает стебель, торчащий у кромки воды. Стебель мясистый, листья с острыми зубьями отливают пурпуром, каждый — словно крохотная пила, и растение, сопротивляясь ему, вновь и вновь выскальзывает из пальцев. Он смеется, глядя на ладони, перепачканные липкой, отвратительно пахнущей слизью. Достает из кармана платок и вытирает руки.

Сколько трудов!.. И все зря.

Ну почему же? Пусть недолго, но пруд был очень красив. Помнишь лилии? Она-то помнит их — восковые, застывшие, и помнит, как он бродил между ними, разгребая зеленую тину.

Она испытывает мгновенное искушение протянуть ему руку — этому плотно сбитому бизнесмену, облаченному в деловой строгий костюм, как протянула ее когда-то полугому, крепко сбитому студенту. Интересно, как он принял бы это? Но они бредут к дому, каждый сам по себе.

Мисс Маккриди злобно смотрит на них с веранды, левой рукой заслоняя от солнца маленькие ярко-синие глазки.

Какая жалость, говорит Лиз, что пропал пруд.

Какая жалость, что пропал весь сад. Но меня это не волнует. Мне ведь исполнилось семьдесят шесть. А этот лодырь бельгиец сверху,— мисс Маккриди поднимает глаза на балкон и, вместо того чтобы заговорить тише, возвышает голос,— знает только одно: упражнение с пивной кружкой.

Они возвращаются в комнату, некогда их гостиную. Осаму и Лиз лежали здесь рядом — Лиз и *татами* в болотной грязи,— лежали до тех пор, пока, холодея от ужаса, не

услыхали над головою шаги. Милдред, которой, как они думали, не было дома, видно, вернулась раньше. Осаму умчался к себе, а Лиз ринулась в ванную. Откуда здесь грязь? — спросил потом кто-то из детей, и Лиз сказала, что собака залезла в пруд за Осаму, она, должно быть, и принесла.

Наверное, вам здесь все так непривычно, после стольких-то лет, говорит мисс Маккриди.

Очень непривычно.

Вы не переменялись. Мисс Маккриди явно считает, что людям следует меняться. Особенно Лиз.

Разве? Мне кажется, изменилась.

В машине, прежде чем завести мотор, Осаму достает из заднего кармана брюк бумажную салфетку и тщательно вытирает с ладоней следы зеленоватой слизи болотного стебля. Потом включает стартер. Занятно, говорит он.

Печально.

Лиз чувствует, как в уголках глаз набухают готовые сорваться слезинки. Она отворачивает лицо.

Пока Норико готовит угощение, Осаму и Лиз идут погулять с детьми. Осаму неохотно берет их с собой, и Норико — с нежной кротостью глядя на Лиз, она что-то нашептывает мужу, — похоже, разделяет его нежелание. Но дети просят, малышка начинает тихонько хныкать, когда дело идет к тому, что брата возьмут, а ее оставят дома.

Пусть идут оба. Почему не взять их обоих? — вступается Лиз.

Вам действительно хочется, чтобы они пошли? Осаму никак не может поверить.

Ну конечно.

Однажды Лиз уже шла здесь, и тоже с детьми, только то были ее, не его дети, и тогда была ночь. Том уехал в Токио подменить какого-то американца врача на время его отпуска, а в их доме в Киото стояла такая жаркая, влажная духота, что они решили пойти прогуляться и заодно посмотреть на рыбную ловлю с бакланами на реке у Арасиямы. С обеих

сторон к тропинке подступал густой лес, и трудно было понять, что породило внезапную усталость — гнетущее его присутствие или атмосферное давление.

Теперь все не так: нет тропинки и нет леса, грозящего ее поглотить. Вместо них — мощенная камнями дорожка, отделяющая жилой квартал, откуда они только что вышли, от комплекса из девяти зданий, принадлежащих фирме Осаму. Лиз чувствует горечь невозполнимой утраты. Как все изменилось, говорит она. Я просто не узнаю это место.

Осаму нагибается и берет на руки девочку: та жалобно хнычет, что не поспевает за ними. Япония меняется, отвечает он. Он гордится этими переменами, избавившими студентов — вроде него — от лакейской службы при иностранцах — вроде Тома и Лиз — ради того, чтобы заработать себе на учебу.

Мальчик несмело, бочком, придвигается к Лиз, и вдруг, к своему изумлению, она ощущает в ладони его ручонку. Странно шершавая и холодная маленькая ручонка с безупречно чистыми, но такими длинными ногтями, что в Англии их неминуемо бы остригли. Просто птичья лапка с когтями. Лиз улыбается ему, но он отворачивается, словно боится улыбнуться в ответ.

А вот река осталась такой же: по берегам тот же лес в сизой дымке, и, как тогда, редкие купальщики плещутся в ее волнах. У воды все те же четырехугольнички стоящих на сваях закусовых с бамбуковым настилом под соломенными навесами, и посетители, сидя на полу, едят и потягивают прохладительные напитки; вдоль берега ездят автобусы, аккуратные девушки в безукоризненных униформах так же неподступно-строго созывают свистками запаздывающих пассажиров; тут сохранился дух непокорившейся, грозной дикости, словно вот-вот промчится, круша верхушки деревьев, тайфун, или поднявшаяся волна потопит прогулочные кораблики, или какая-нибудь из окрестных гор начнет извергать огнедышащую лаву.

Они наняли лодку — в тот сезон лодки стоили просто гроши. Спустилась ночь, и широкую водную гладь усеяли

бесчисленные суденышки; бакланы сидели на носу, в отсветах пламени стоящих в лодках жаровен, вырисовываясь на фоне ночного мрака, как на зловещих гербах. Дети были в восторге. Адриана хотела погладить одну из птиц, но Осаму велел ей не делать этого, баклан может клюнуть. На каждой птице было что-то вроде ошейника. Осаму сказал, кольцо надевают затем, чтобы баклан не глотал добычу. А вообще это все на потеху туристам, добавил он, тут зарабатывают не на рыбе, а на лодках, что дают напрокат. Скрипели весла, гортанно кричали бакланы, и крик их казался искаженным эхом скрипа уключин. Один из гребцов с плеском опускал весла в воду.

И тогда Осаму, заметив, что дети полностью поглощены зрелищем окольцованных, прикованных цепью птиц, нырявших в воду за рыбой, обернулся к ней: Почему мне нельзя поехать в Англию?

Ах, Осаму! Конечно, мы хотим, очень хотим, чтобы ты тоже поехал с нами, но подумай, как ты будешь там жить? Ты ведь не хочешь быть вечно в прислугах — даже если б у нас хватило денег тебя содержать. Нет, Том прав. Лучше тебе согласиться на ту работу в фармацевтической фирме, которую он тебе подыскал. Разве ты хочешь порвать с родными — со всей своей жизнью здесь, в Японии? Это было бы горько и безнадежно.

Да, безнадежно — так чувствовала и Лиз. Через одиннадцать дней они сядут на трансокеанский лайнер в порту Кобе, и, может, она уже никогда не увидит его.

Осаму вздохнул. Она взяла его за руку, но он отдернул ее. Кто-то из детей пронзительно вскрикнул. Ракеты со свистом взмывали в свинцовое небо и низвергались лавиной огня — зеленых, красных и золотых, озаряя реку, и лес по ее берегам, и даже горы вдали.

Они стоят на том месте, где сошли тогда на берег под непрекращающимся дождем разноцветных искр. Интересно, помнит ли это Осаму? Мальчик отпускает вспотевшую от прикосновения ладонь Лиз — его ладошка по-прежнему совершенно суха — и бежит к воде. Становится на колени,

рассматривая что-то на мелководье. Для Лиз это обыкновенная консервная банка, плавающая кверху дном. Осаму сердито кричит на мальчика, и тот вскакивает. Он запачкал свои чистенькие, выутюженные штанишки и чулочки.

Какие чудесные ребятишки, говорит Лиз.

И замечает, что Осаму не нравится это. Возможно, он, как и многие японцы, суеверен и боится навлечь немилость злых духов. Он бросает взгляд на свои электронные, со множеством операций часы: Пора возвращаться. Норико сказала, все будет готово к половине второго.

Дети — ее, не его дети — бегут впереди, возбужденные и чуть испуганные, бегут по тропинке через густой, подступающий с обеих сторон лес. Змеи, обезьяны, дикие собаки, дикие кошки! А может быть, привидения! Осаму сказал, японское привидение узнаешь сразу: у него не бывает ног. Они сами распалаяют в себе страхи, но от этого только слаще недавнее удовольствие — зрелище рыбной ловли с диковинными хищноклювыми птицами и внезапный затопивший округу огненный ливень. Лиз повернулась к Осаму и положила руки ему на плечи. Никого сзади, никого впереди. Чудо в Японии! Она поцеловала его, прижавшись всем телом, будто это она была мужчиной, сильным и уверенным в себе, а он — женщиной, податливой и мягкой.

Осаму берет на руки раскапризничавшуюся малышку. Она улыбается ему, хотя по щекам еще катятся слезы, протягивает ручонку и дергает за волосы. Он позволяет ей это, потому что в Японии маленьким детям позволено все. Только потом им предстоит научиться выдержке и благоразумию.

Стол накрыт по-западному: вилки, ножи, ложки, подставки с перцем и солонкой, белые, обшитые кружевами салфетки. На столе — цветы, вокруг стола — стулья. Норико брала уроки кулинарии, изучала западную кухню, поясняет Осаму. Интересно, мелькает у Лиз, не для того ли, чтобы защитить себя от прихода — прихода той англичанки, что некогда наняла на работу и влюбилась в ее супруга?

Норико подает бараньи отбивные, недожаренные и розо-

ватые внутри, и картофель, переваренный и расплзшийся в водянистую кашу. Откупоривается бутылка кислого красного вина; его, замечает Лиз, Осаму не предлагает жене. Трапезу завершает лимонный пирог с сухой и безвкусной, как тряпка, верхушкой. Но это все пустяки. С болью, к которой примешана тихая, умиротворенная радость, Лиз понимает, что Осаму и Норико совершенно счастливы вместе. Норико может со смехом жаловаться, что муж вечно приходит поздно, потому что должен играть ночь напролет в маджонг с предполагаемыми клиентами и давать им выигрывать. Осаму может корить Норико за то, что, закончив женский университет «Досисья», она сидит дома с дипломом историка и воспитывает детей, вместо того чтобы найти работу. Они просто поддразнивают друг друга, в их голосах нет раздражения, они вовсе не жаждут никаких перемен — в отличие от Тома и Лиз, так часто недовольных друг другом. Она вдруг ощущает, что хоть Осаму и сидит рядом с ней, а с Норико его разделяет сидящая между ними малышка, муж и жена словно сплелись в единое целое — Лиз, глядя на них, слушая их, отчетливо понимает это. Их тела сливаются, лица наслаиваются друг на друга. Интересно, испытывал ли кто-нибудь когда-нибудь то же чувство, глядя на них с Томом? Может, Осаму — много-много лет назад? Как все переменялось теперь...

Они пьют кофе из крошечных, с наперсток, чашечек «Кутани»*. Лиз никогда не нравился современный «Кутани», слишком яркий и вычурный, но сегодня ей вовсе не хочется придирается к таким мелочам — и даже к спортивным вымпелам, висящим справа и слева от двери (Осаму играл в футбол за команду Университета Киото), к двум парным куклам, даме и кавалеру, в безвкусно-ярких нарядах, расставленным — каждая в стеклянном футляре — справа и слева на каминной доске, или кухонному полотенцу с видом английского парламента, ее собственному подарку, который она купила тогда потому, что его несложно отправить по почте, — теперь оно пришпилено к стене над пианино.

* Одна из высших марок японского фарфора.

За это пианино Осаму усаживает мальчика в черных лаковых туфельках и с бантом в горошек. Воцаряется тишина, мальчик нервничает. Болтая не достающими до пола ногами, он ударяет по клавишам, и до Лиз вдруг доходит, что он, чуть фальшивя, играет «Боже, храни королеву». Замолкает последний аккорд, Лиз рассыпается в похвалах, Осаму гладит по квадратной, коротко стриженной головке, а Норико чмокает мальчика в щеку, и Лиз понимает: пора уходить, это всегда понятно в Японии, хотя никто не сказал ни слова.

Норико и дети выходят за ними во внутренний дворик, где Осаму поставил машину. Норико гнется в прощальном поклоне, но тут Лиз, повинувшись внезапному чувству, делает шаг и, обняв японку за плечи, целует ее. Японка не может скрыть удивления, однако ей это явно приятно. Говорил ли Осаму жене о том, что случилось тогда между ним и Лиз — в те далекие времена? Вряд ли. Но японцы способны столько понять и сказать друг другу без слов, что Лиз уверена: Норико знает и, что важнее, совсем не таит обиды.

Ты счастлив с женой, говорит Лиз, когда они выезжают на ведущее в город широкое и ревущее шоссе.

Да. Мы счастливы. Он говорит спокойно и просто. Признание факта.

Хорошо, что ты не поехал с нами в Англию. Мы были правы — Том и я. Хотя *мне* очень хотелось, чтобы ты тоже поехал.

Но Осаму молчит. Может, он и в самом деле забыл, как когда-то молил их взять его с собой, а может, так удобнее и легче — делать вид, что забыл. Я бы хотел увидеть Англию, говорит он. Когда-нибудь.

Конечно, обязательно приезжай к нам! Мы будем счастливы!

Непреренно. Благодарю. Думаю, лет через пять меня отправят в командировку.

Все распланировано и предопределено, как и у любого служащего компании. Каждому точно известно, когда его пошлют за границу, на Запад, с тем или иным заданием.

Какой был чудесный день!

Сожалею, что Том-сан не приехал с вами.

Да, он очень хотел. Но кто оплатил бы его расходы? Это я ехала по приглашению. Как все подорожало в Японии! Просто невероятно!

А помните, ведь когда-то номер в японской гостинице стоил только тысячу иен.

Да-да! Включая плату за завтрак и за обед. Это было... да, что-то около фунта.

Пусть Осаму отвезет на машине в Аmano-Хасидатэ Лиз и детей, сказал Том, а сам я приеду завтра на поезде. Иначе с нас могут взять за пустующий номер. Комнат было три, разделенных тонкими *фусума**, которые раздвигались, невесомо скользя в пазах, — и все три превращались в одну идеальных пропорций залу с видом на безбрежно спокойное, подернутое дымкой море, рассеченное надвое пирсом. Первая, довольно большая, предназначалась Тому и Лиз, вторая, еще просторнее, — детям, а третья, крохотная, меньше прихожей, — Осаму. Увидев эту каморку, Лиз поразились: Как ты поместишься здесь? — на что Осаму с недоумением сказал, что здесь четыре с половиной *татами* и он, учась в школе, жил точно в такой же вдвоем с младшим братом.

Той ночью она на цыпочках прокралась к нему через детскую, где в лунном свете, припорошившем сероватой мерцающей пылью обращенные кверху лица, спали трое ее детей. Она выскользнула из кимоно, и он, лежа, протянул снизу к ней свои руки. Но только она хотела присесть к нему на *фугон*, как вдруг заметила на сияющей белизне подушки что-то похожее на лохматый черный обрывок шнурка. Шнурок изогнулся, и она, чтобы не закричать, зажала руками рот. Потом показала на шнурок Осаму.

Он вскочил — совершенно нагой — с *фугона*, схватил полупрозрачный пластмассовый гостиничный шлепанец и яростно замолотил им по подушке. *Мукадэ*, прошептал он, и Лиз догадалась, хотя никогда прежде не видела их,

* Раздвижная перегородка в японском доме.

что это ядовитая сколопендра. Давно уже сколопендра стала бесформенной кляксой на *татами*, а Осаму все колотил по ней с той же яростной одержимостью, с какой японские женщины — Лиз случалось видеть их лица — толкут в ступе рис, растирая его в муку для своих колобков.

В соседней комнате послышался вскрик. Осаму разбудил кого-то из детей. Лиз накинула кимоно, отодвинула *фусума* и шепнула: Спи, все в порядке, не бойся. Потом прошептала ему, что все так сложно, что здесь слышен малейший звук, ей лучше вернуться к себе. Зрелище голого Осаму, с одержимостью хлеставшего, точно цепом, сколопендру, напугало ее куда больше, чем крик ребенка. Хотя укус *мукадэ* смертелен, это знает любой, и неистовая жестокость Осаму была вполне объяснима.

А как поживает миссис Бадден? — неожиданно спрашивает Осаму. Он говорит о Милдред.

Лиз отвечает, что потеряла с ней связь, Милдред не отвечает на письма, может — кто знает? — она умерла. Она вернулась в Канаду, к сестре, и вообще она была немолода уже и тогда, в те далекие времена, когда снимала две комнаты под самой крышей.

Интересно, почему он вдруг спросил про нее? Разве лишь потому, что всегда был уверен — как бы Лиз ни подсмеивалась над ним, — что Милдред знает про них. Милдред следила, Милдред прислушивалась — это он точно знал.

Осаму смеется: Метод прямого общения, говорит он. Да, Милдред верила в метод прямого общения.

Они вернулись в гостиницу и сейчас распрощаются. Теперь они не увидят друг друга долгие годы, что пролетят, прежде чем служба Осаму на благо компании вознаградится поездкой в Англию. Он сует руку в карман и достает небольшой, тщательно упакованный сверточек.

Сувенир, говорит он.

Что это? Знаю, я не должна этого делать, но позволь мне нарушить японский обычай и развернуть его прямо сейчас.

Он улыбается и кивает.

Она опускается в кресло, стоящее в холле, и трясуцимися, неловкими пальцами развязывает ленточку, снимает сначала оберточную, затем тонкую шелковую бумагу.

Я помню, вы коллекционируете их.

Китайская табакерка в форме лилии, вырезанная из турмалина. Лиз глядит на нее и вспоминает пруд и встающее из воды его обнаженное, грязное тело в окружении разинувших ротки розовато-зеленых лилий.

Они с Томом уже не коллекционируют китайские табакерки, потому что вскоре после возвращения из Японии возникла такая нужда в деньгах, что всю коллекцию пришлось пустить с молотка. Но она, конечно же, не говорит об этом Осаму, а начинает бережно заворачивать табакерку — сначала в шелковую, затем в оберточную бумагу и наконец водружает на место ленточку.

Том будет просто в восторге, говорит она. Как это мило с твоей стороны!

Время морального долга больше не тяготеет над ним: он свободен — от французского шарфа, от шерстяного пуловера, от куклы, от трех машинок старинных моделей и даже от — тех немногих! — часов, что она провела на ложе подле него. Это музейная ценность, и он расплатился за все, сполна. Теперь ей понятно, почему, несмотря на горечь прощания, у него такое лицо — человека, которого нежданно-негаданно оправдали и выпустили из-под суда и следствия.

Осаму, дорогой...

Что ж...

Он опять смущенно хихикает. Потом говорит, что нужно домой, он знает, у нее много дел, он надеется, она хорошо проведет время в Японии и скоро приедет вновь. Лиз собиралась пригласить его в номер, но теперь понимает, что это будет бессмысленным унижением.

Мальчишка-лифтер косится на сверток в ее руках, явно гадая, что же могла купить или получить в подарок эта седовласая иностранка. Сверточек кажется Лиз невероятно

тяжелым, словно на руку ей положили огромный, увесистый камень.

Она ступает в комнату, снимает с ладони чудовищный груз и подходит к затянутой перламутровой бумагой раме из светлого дерева. Остановившимся взглядом смотрит на надпись ПРОСЬБА НЕ ОТКРЫВАТЬ.

Это — комната. Что это?

Это тюрьма.

Нет. Это — комната. Повтори.

Это тюрьма.

Нет, не так. Вот японский эквивалент. Это комната — *Сорэ ва дзасики дэсу*.

Методом перевода.

Лиз хочет снова раздвинуть *сёдзи*, но — опускает руки.

Слепота

На званом обеде, который устроили родители Айрин вскоре после ее возвращения из Боливии, когда ее спросили, как ей там жилось, она ответила:

— Жилось, как на лестничной клетке.

Гости были в недоумении, но она объяснила, что *au pair** не принадлежит ни к верхам, ни к низам, а занимает место где-то посередине. Все рассмеялись — тут, в поместном особняке родителей, не могло быть и тени сомнения, что Айрин принадлежит к «верхам».

— Почему вы согласились на эту работу? — спросил молодой человек с вислыми усами и вислыми плечами.

— Потому что хотела понять, какова Южная Америка. И еще мне хотелось понять, какова жизнь, ну если и не внизу, то хотя бы на лестничной клетке.

— На вашу долю, вероятно, выпало немало приключений? — вмешалась в разговор приятельница ее матери. По-

* Человек, живущий на полном пансионе, но не получающий за свою работу денег (*франц.*).

трепанная и побитая жизнью, сама она испытала их предостаточно — и наверху, и на лестничной клетке, и даже внизу, но теперь все это осталось позади или, скорее, было ниже ее, поскольку она вышла замуж за обедневшего пэралайбориста.

Айрин задумалась.

— Да нет, обошлось без особых приключений,— ответила она.— Как-то раз я попала в автомобильную катастрофу, другой раз меня сбросила лошадь, но ни в том, ни в другом случае я ничего себе не сломала. Если же вы имеете в виду амурные похождения, то их у меня не было совсем.

Все засмеялись, кроме задавшей вопрос, поскольку та именно их и имела в виду.

— Да, и еще я часто виделась с Адрианой Валера.

Гости опять недоуменно переглянулись. Кто она такая, Адриана Валера? Знаменитая актриса, танцовщица, кинозвезда? Или жена одного из тех генералов и адмиралов, которые то и дело захватывают власть в государствах, подобных Боливии? Лишь один из гостей вспомнил, что Валера была знаменитой поэтессой, пожалуй, самой знаменитой за всю историю страны, и когда много лет назад в комитете по Нобелевским премиям задались вопросом: «А мы хоть раз награждали боливийских писателей?»— то именно она получила премию. Вспомнивший это гость был редактором воскресного приложения, и он тут же решил, что Айрин неплохо бы написать об их дружбе — ведь Валера ужасно старая, а очень старые, как и очень юные,— всегда ходкий товар. Правда, он ошибался, считая, что их связывали дружеские отношения: Айрин встречалась с поэтессой каждый день в течение нескольких месяцев, но это была для нее отнюдь не дружба, а властно навязанная служба.

Адриана Валера совсем ослепла, но, страстно любя всю жизнь английскую поэзию, особенно Теннисона, Браунинга, Арнольда и Суинберна, она не могла вынести, если их читали ей невнятно, с испанским акцентом, и поэтому старалась заполучить в чтецы кого-нибудь из англичан — журналиста, приезжего писателя, жену бизнесмена, секретар-

шу посольства, а то и просто стенографистку. Владелец же местных оловянных копей, чьих детей Айрин обучала языку, приходился ей племянником, так что судьба молодой англичанки была решена.

Больше полувека после смерти мужа, о котором только и помнили, что он был много старше ее и оставил в наследство обширные неводеланные угодья, Адриана жила (когда не порхала по другим странам) в том же самом особняке, расположенном напротив одного посольства и по соседству с другим. У нее было множество слуг — мужчины в белых куртках и перчатках, женщины в черных платьях с белыми фартуками; и тем не менее она всегда с явной скупостью угощала Айрин одним-двумя сероватыми, ломкими печеньицами да чашкой чая, который из серебряного чайника наливала сморщенная, старая служанка — «моя нянька», как ее называла Адриана. Вопрос о гонораре тоже никогда не вставал, хотя Айрин провела в особняке долгие часы, а когда перед отъездом в Англию она пришла попрощаться, то получила в подарок лишь вышитый «моей нянькой» конвертик для носовых платков. Кроме жадности, Айрин усмотрела в этом подарке и злой намек — Адриана не раз с раздражением просила ее высморкаться и не шмыгать носом.

И все же Айрин знала, что ее самые счастливые часы прошли именно в необъятной сумрачной гостиной, где она снова и снова декламировала «Титона», «Дуврский берег», «Последнюю герцогиню» или «Сад Прозерпины» и где ее голос отдавался под высокими сводами. Если же она читала недостаточно громко, Адриана ей выговаривала: «Перестаньте бормотать под нос, милочка!» — и при этом слепые, но казавшиеся зрячими глаза, что всегда обескураживало Айрин, были уставлены в какую-то точку чуть повыше ее головы. Старухе было под девяносто, ко всему прочему, она почти не слышала.

Но наслаждалась Айрин не чтением, поскольку терпеть не могла ни читать вслух, ни когда читали ей, а беседами в паузах. Сама-то Айрин чаще отмалчивалась, вовсе не смущаясь этим, — она никогда не была разговорчивой. Зато старуха,

даже в очень жаркую погоду укутанная шалью и пледом, вдруг превращалась, несмотря на все морщины, в удивительно одаренного ребенка, выкладывающего мозаику из неисчерпаемого запаса воспоминаний и идей. Казалось, этот вундеркинд просит свою английскую гостью: «Сядьте и посмотрите, что я умею», — и тут же проворно соединяет один кусочек мозаики с другим, потом с третьим, с четвертым.

Айрин часто спрашивала себя: «А представляет ли она, кто я, как выгляжу, сколько мне лет, что меня волнует?» Старуха никогда не задавала ей вопросов, да вряд ли вообще задавала их кому-нибудь. Стоило же Айрин заговорить о себе, как Адриана прерывала ее одной из своих «мини-лекций» (так называла их Айрин), но «лекцией» такой остроумной, искрящейся эрудицией, и веселой шуткой, и язвительной иронией, что обижаться не приходилось.

Иногда Адриана пускалась в воспоминания, которые завораживали Айрин еще больше, чем «лекции». В молодости она отвергла ухаживания Родена, путешествовала с Генри Джеймсом в «огненном фэртоне» Эдит Уортон, Антуан Бибеско как-то привез ей из Парижа письмо на восемнадцать страницах от Марселя Пруста. В старости же ей случилось преподавать «урок хороших манер» гостившему у нее Хемингуэю, с Э. М. Форстером и его «далеко не очаровательной и совсем не молодой спутницей» она бродила по трущобам, а от Колетт получила в подарок «ужасно блудливого» кота.

Айрин становилось скучно, только когда Адриана глухим, низким голосом начинала превозносить свои успехи в борьбе за права эксплуатируемых и поработанных женщин Боливии и других стран Южной Америки. Да и эти рассказы, возможно, не оставили бы Айрин равнодушной, не доведись ей слышать, каким властным тоном старуха покрикивала на «мою няньку» и других слуг, видеть, как они трепещут перед хозяйкой. А один раз на колокольчик Адрианы никто не явился, и Айрин послали в мрачный, низкий «муравейник» на задах прихожей — там ютилась прислуга, явно эксплуатируемая и, конечно же, поработанная.

Редактор воскресного приложения, узнав, что Адриане Валера скоро исполняется девяносто, нажал на Айрин, и та в конце концов написала очерк обо всем этом и многом другом. Он послал в Ла-Пас фотографа, который привез из Боливии прекрасные снимки: старая слепая сивилла, на удивление кроткая, сидит в кресле с прямой спинкой, на костлявых коленках — плед, на костлявых плечах — шаль; (Айрин хорошо помнила эту позу, разве что выражение кротости было ей в новинку); а на заднем плане улыбаются «моя нянька» и другие слуги. Вместо портрета тюремщика и узников получился портрет «счастливой семьи»; так, собственно, и написали под одним из снимков. Поместили еще и фотографию самой Айрин: в костюме из твида, в полосатых шерстяных чулках и туфлях без каблуков, она чуть смущенно позирует с двумя родительскими ньюфаундлендами на фоне особняка в Глостершире. Упоминание о том, что в Ла-Пасе она жила в качестве *au pair*, из очерка выбросили, и создавалось впечатление, будто богатая и привлекательная девушка из аристократической семьи надумала провести годик в Боливии по каким-то там своим взбалмошным причинам.

Друзья очерк похвалили.

— Лиха беда начало, моя милая, — не совсем уверенно объявила ее тетка.

Какой-то американский профессор, проводивший в Англии свой годичный научный отпуск, узнал в редакции ее телефон и попросил разрешения заехать и поговорить об Адриане, поскольку писал о ней книгу; однако Айрин ответила, что не видит во встрече никакого смысла: все, что могла, она уже рассказала. Французский литературно-критический журнал опубликовал перевод очерка, не заплатив ни гроша.

Нашлись и двое критиков. Так, какой-то поклонник, если не друг Адрианы, о котором Айрин никогда не слышала, написал в редакцию, что Айрин совершенно зря обижалась, когда поэтесса «не ловила с восторгом каждое ее слово»: во-первых, надо учесть, что Адриана не только слепа, но и

глуха, а во-вторых, большинство людей посчитали бы за честь просто побыть с ней рядом. Нет, если Адриана не могла читать, потому что была слепа, то этот человек ничего не читал и ничего не понимал по лени. Где это Айрин жаловалась на вынужденное молчание?

Вторая, уже косвенная критика проскользнула в рецензии на книгу путевых очерков известной романистки и поборницы женских прав, посетившей Латинскую Америку с лекциями от Британского Совета. Находясь в Ла-Пасе, писательница наудачу позвонила Адриане и неожиданно была приглашена в гости. Женщин, как по волшебству, сразу связало «чудесное взаимопонимание». Все свое время, кроме, само собой, лекционного, романистка проводила с Адрианой — гуляла в парке, болтала в ресторанах, читала у изголовья. (Айрин ни разу не слышала, чтобы Адриана ходила в парк или в ресторан, и даже краешком глаза не видела ее спальни.) «Мне мучительно хотелось стать ее биографом, ее Босуэллом, — писала романистка. — Но я подумала о муже, детях, о собственных книгах, которые, конечно, не идут ни в какое сравнение с книгами Адрианы Валера, и все-таки они — мои собственные, и с тяжелой душой отказалась от этой мысли».

Автор рецензии расхваливал страницы о встречах с Адрианой как «самые яркие» в путевых очерках. В них много юмора, утверждал он, одновременно они такие трогательные, а до чего пикантен контраст между очаровательной английской писательницей, сражающейся за права женщин, и старой блистательной поэтессой, чьи баталии остались далеко в прошлом; и, конечно же, обеих участниц этой необычной дружбы пронзила *coup de foudre*, любовь, хотя после Фрейда говорить об этом опасно: могут превратно понять. Далее рецензент заключал: «Доброжелательные и великодушные отзывы о Валера нам особенно приятны после недавнего очерка, в котором молодой автор, тоже женщина, делает все, чтобы принизить одну из величайших поэтесс нашего времени».

Айрин прочла рецензию за завтраком и поняла, в чей

адрес брошен упрек. Несправедливо! У нее и в мыслях не было унижать Адриану или осуждать ее за равнодушие ко всему на свете, кроме своей обворожительной персоны, своих мыслей и воспоминаний; не хотела она жаловаться и на то, что была вознаграждена за все труды лишь обворожительными рассказами, ну и еще тепловатым чаем, сероватым печеньем и конвертиком для платков. Нет, ужасно несправедливо!

Чтобы развеять обиду, Айрин вышла на прогулку с ньюфаундлендами и только тут, когда собаки вынюхивали в густой рощице какую-то живность, вспомнила нечто важное.

Однажды Адриана завела разговор о Вирджинии Вулф, с которой была хорошо знакома, и о ее сборнике эссе «Своя комната».

Айрин редко ее перебивала, но тут спросила: а читала ли Адриана «Не только в своей комнате»?*

Как всегда, когда пытались мешать бурному течению ее рассказов, Адриана недовольно нахмурилась и отрицательно помотала головой.

— Ну как же,— продолжала Айрин,— ее написала... та писательница, которая... ну, она еще много пишет о женском движении. (Айрин в присутствии Адрианы всегда говорила довольно путано, если ей вообще разрешалось говорить.)

— А как зовут писательницу?

Айрин сказала.

Припоминая, старуха сощурила слепые глаза и поджала все еще красивые губы.

— Имя мне вроде бы знакомо,— неуверенно сказала она и тут же продолжала рассказывать забавную историю, как в один прекрасный день они с Вирджинией Вулф притворились любовницами, чтобы подурочить милую старую Этель Смит.

Сейчас Айрин сообразила (собаки тем временем, тяжело дыша, выбрались из рощицы), что этот ее разговор с Адрианой случился уже *после того*, как гастролирующая рома-

* Вымышленная книга, заголовок которой обыгрывает название книги В. Вулф.

нистка «гуляла с поэссой в парке, болтала в ресторанах, читала у изголовья и наконец с тяжелой душой отказалась от мысли стать вторым Босуэллом.

Неужто, недоумевала Айрин, кому-то хоть раз удалось использовать Адриану в своих целях, вместо того чтобы позволить ей эксплуатировать себя?!

Аппетит

Приношения сносят к высокому поблескивающему катафалку в углу палаты. Сокровище мое, птичка моя маленькая, ну съешь что-нибудь, съешь, *СЪЕШЬ*. Тетушка Сотирия, на самом деле не тетка, а какая-то дальняя родственница, умоляюще склоняется над Марией, суставы ее подагрических пальцев раздуты, словно от нанизанных перстней. Я сама сделала эти *dolmadakia**, попробуй же, откуси хоть кусочек, хоть малюсенький. Узловатые, как пальцы, *dolmadakia* набиты в серую пластмассовую коробку, явно сворованную из неопрятной кухни какой-нибудь неопрятной дамочки — жены журналиста, телевизионщика или издателя в Камдентауне, где она убирает квартиры и готовит. Сотирия наклоняет коробку, и в уголке зловеще поблескивает изумрудная слизь. Съешь, съешь, съешь!

Дядюшка Костас, на самом деле не дядя, а какой-то дальний родственник, связанный с тетушкой Сотирией тонким и цепким, как паутина, родством, предлагает свои неотразимые, аппетитные лакомства. *Taramasalata*? А? Тоненьким слоем на сухарике? Или селедочка! Лучшее средство от тошноты; кто-кто, а уж он-то знает, испробовал в плаваниях из Афин на Крит, хоть и давно это было! Или вот еще печенка. Как насчет тонкого ломтика, чуть-чуть прижаренного в отличном оливковом масле? Прекрасно усваивается. Но Мария молчит, и вот уже оба, тетушка и дядюшка, а на самом деле

* Небольшие голубцы, завернутые в виноградные листья. (Далее идут названия греческих и других национальных блюд и сладостей.)

какие-то дальние родственники, склоняют над ней озадаченные, слегка обиженные лица.

Вскоре приходит Такис, еще один родственник, который учится на инженера в лондонском политехническом; с ним подружка, англичанка Сью. Поначалу Сью держится безразлично; засунув руки в карманы, кутает пышные тела в шубу из искусственного меха, будто сама себя обнимает, поздравляя с отличным аппетитом. Сокровище мое, куколка, птичка моя маленькая, ну, съешь что-нибудь, съешь, *СЪЕШЬ*. Такис произносит те же слова, только чуть понапористой. Он принес с собой круглую коробку *loukoumia* и маленькую деревянную вилку, которую вонзил в крупный студенистый кубик, обсыпанный розоватой пудрой. Ну, давай же, ешь. Ну! Красивый парень, этот Такис, — нос с горбинкой, густые брови дугой. Пахнет от него греческими сигаретами, едкими, как тлеющее сено, и до тошноты сладковатым бриллиантином, полоска которого поблескивает вверху лба, где начинаются черные курчавые волосы. Такис протягивает кубик, и розоватая пудра падает на подушку, словно снег в лучах заката. Сью понемногу оживает и устремляет только что скучавшие выпученные глаза на катафалк. Конечно же, поесть необходимо! Надо себя заставить. Стоит только начать, дальше будет легче. То же самое Мария слышит от медсестер. Они ее жалеют — как не пожалеть такую хрупкую, такую хорошенькую, такую нетребовательную девушку, — правда, она уже начинает их раздражать. Нигерийка с большими высокими грудями даже рассказала ей, как голодают в ее стране — дети голодают! — и не из каприза, а потому что нечего есть. Сью встает и подходит к катафалку. Нет, не мудрено, что Марию воротит от рахат-лукума. Нужны фрукты. Виноград. Может, банан. Или крепкое, хрусткое яблочко. Сью говорит так, словно девушка на катафалке ничего не слышит и не понимает. Но Такис снова протягивает розовый студенистый кубик, и снова вниз осыпается пронизанный закатом снег.

Подходит овдовевшая госпожа Папандопуло; ее широкобедрое, грудастое тело каким-то чудом удерживается на

тоненьких ножках с удивительно хрупкими лодыжками и на туфельках с удивительно высокими каблучками. Она — хозяйка ресторана в Сити, где служила Мария. Ее сын, которого она держит под каблуком, как прежде держала мужа, работает там шеф-поваром. Я принесла куриное крылышко. Ведь тебе нравится, как мой Петрос жарит цыплят? Видишь, до чего румяная корочка, и чуть-чуть пахнет *gigani*. Сокровище мое, куколка, птичка моя маленькая, ну, съешь, съешь же, *СЪЕШЬ*. Она разрывает курицу длинными, в красном лаке ногтями и протягивает кусочек Марии. Ну, давай же, *ЕШЬ*. Когда ее дар отвергают, госпожа Папандопуло поворачивается, дернув плечом, укутанным в шубу из настоящего, а не искусственного меха. Что случилось с бедняжкой? Как быть? Она тоже говорит так, будто девушка на катафалке ничего не слышит и не понимает.

В конце концов все они забывают о той, ради которой собрались, и, усевшись у катафалка полукругом, начинают жадно поглощать принесенное.

Госпожа Папандопуло, прошу вас, попробуйте домашней *dolmadakia*. В вашем знаменитом ресторане она наверняка вкуснее, но все же отведайте моей, прошу вас.

Не хотите ли цыпленка, *Сью*? Цыпленок из ресторана госпожи Папандопуло. Ничего подобного вам в жизни не приходилось пробовать.

Чего мне действительно хочется, так это чуточку рахат-лукума. Обычно я себе не позволяю. Фигура. Но... (Студенистый шматочек застрял у *Сью* в передних зубах и мягко розовеет на белой эмали.)

А я за селедку.

Жареная печенка...

Ну, еще маленький, малюсенький кусочек.

Остался еще цыпленок.

Девушка на катафалке неподвижно смотрит в потолок. Как ретивый, крепкозадый пони, к гостям рысит сестра. Вынуждена вас просить. Слишком шумно. Мешаете другим пациентам. Некоторые очень-очень больны. Вас тут слишком много. Разрешается не больше двух сразу.

Наконец они уходят (я оставляю loukoumia — вдруг тебе захочется попозже?), и сразу же гремит подносом нигерийка. Ну вот, милочка, тут немного, не заметите, как съедите. Она с завистью посматривает на открытую круглую коробку из дерева. Только подумайте: приносить подобные сласти! Ну, не глупо ли? (В квартирке на окраине мать нянчит ее маленького сынишку, рахат-лукум будет им неплохим подарком.) Тут капелька бульона, вам не повредит; еще макароны с сыром и молочный пудинг. Но Мария тяжело вздыхает и со стоном отворачивает голову. Сестра грохает подносом (не хочешь — и не надо, думает она про себя) и спешит к следующей больной. Как угодно, но времени у нее в обрез, без конца задерживаться на работе она не собирается.

К этому часу ресторан начинает заполняться. Что-что, а хорошенько поесть не откажусь. Да, в этом ресторане поесть можно. Обслуживание не высший класс, но кормят — никаких денег не пожалеешь. На разгоряченных лбах пот. В уголках губ слюна. Зубы рвут утиную ножку, по подбородку течет жир. На вилке комок вязкого риса. На булочке кроваво краснеет след губной помады. Мария! Эй, Мария! Похожая на окорок рука плещет из надтреснутой бутылки зеленоватое масло в горку пухлых *courgettes*. Еще *vin*, Мария! Ваше здоровье! Вино (для посетителей красное, а Марии оно кажется черным) булькает из больших оплетенных бутылей в графины, похожие на те, что в больнице, сворачивается сладковатой кровью на языке, тут же отдавая горечью. Мария, ангел мой, принеси сливочного масла. Желтые полоски масла на блюдах быстро оплывают. Вилка крутит и крутит по острому соусу кусочек мякиша. Рот открывается, закрывается, пыхтит, чавкает, жует. Резкий, визгливый голос американки: если я съем еще хоть кусочек, меня просто вывернет. Ей-богу, вывернет... Ерунда! *Profiteroles* нельзя не попробовать. Фирменное блюдо этого *maison*. Что-то сказочное! Восхитительное! Мария! Лапушка! Где ты? *Pagakalo!* (В прошлый раз он узнал у нее, как будет по-гречески «пожалуйста».) Петрос на кухне тычет палец в майонез, облизывает. Перелил уксуса, ругает он поварен-

ка. А тот, не обращая внимания, намазывает холодную рыбу. Мария!

Девушка на катафалке лежит недвижно. Не хочется есть, доченька? Женщина справа, бесформенная, всеми забытая, уже привыкла подъедать порцию Марии; в ее утробе живет прожорливое чудище, только едой можно уgomонить его и убаюкать. Мария не отвечает, и женщина бесшумно выползает из постели и, как голодная вороватая кошка, быстро меняет свой пустой поднос на нетронутый поднос Марии. Не пропадать же добру! Сначала собственной грудью, потом на скупые подачки пьянчуги мужа она выкормила пятерых детей (двоих уже нет). Теперь с той же отчаянной одержимостью она кормит себя.

Мария закрывает глаза, так долго уставленные в голый белый потолок.

...В памяти снова Кипр — около своей деревни, которой давно не существует, она пасет на каменистом склоне или в голом ущелье овец, которых тоже давно нет. Овцы, как и она, худые. Год выдался неудачный, после разрушительных ураганов все лето стояла сухая жара. Ей хочется есть, постоянно хочется, но она терпит, не достает сверток из перекинутой через плечо сумки с кисточками. Еще рано. Можно подождать. И она терпит десять минут, пятнадцать, полчаса. Хлеб твердый, грубый, словно рыхлый нарост на одной из торчащих кругом скал. Сыр feta крошится во рту — не сыр, а кусок мела. Но еда восхитительно чистая и терпкая. Потом она вгрызается в грушу — белая и крепкая мякоть хрустит на крепких, белых зубах. Сок брызжет на подбородок, течет по грязным трещинкам и царапинам на руке. Она откусывает еще кусок. Груша отдает тяжелым мускусным запахом лета. Мария встает, вытирает руки о подол грубой черной юбки и, пока овцы суматошно блеют, спускается вниз, прыгая с камня на камень. На дне ущелья из темного рваного отверстия с бородкой изумрудного мха бьет родник. Вода ледяная и прозрачная. Чистая. Она складывает ладони ковшиком, нагибает голову и делает глоток.

Покалывает язык, шибает в нос. Такое ощущение, что вода проникает даже в голову, проясняя ее, делая легкой, как выкачанные пчелиные соты.

Будете пить какао, милочка? Сестра, что подошла к катафалку, несколько дней питала к Марии материнскую нежность, но теперь разлюбила. Скажите, пожалуйста, ни ответа, ни привета! Нет, ей не по душе пациенты, которые даже не стараются выздороветь. Каждую смерть она воспринимает как личное оскорбление, она приказывает больным: «А теперь выздоравливать!»— и ожидает послушания, она замучила соседок по квартире разговорами о болезнях, отравляя их существование больничными запахами, страданиями, смертями.

Мария глотает воздух и отворачивает голову.

Не будешь?

Нет!

Психиатр, коренастая женщина средних лет с короткими пальцами, присаживается у катафалка, широко раздвинув грузные узловатые ноги; кожаный жакет на ней поблескивает, словно смазанный свиным салом, а шерстяная юбка выделкой и цветом напоминает скисшее молоко. Блеклые голубоватые глазки, плавающие в желтушных белках, как в бараньем жире, раздумчиво вглядываются в девушку. Что бы такое сказать?

Вам лучше, дорогая?

Вы так и не заставили себя хоть немножко поесть?

Венский акцент напоминает Марии кондитерскую, куда ее водил парнишка швед, с которым она познакомилась на курсах английского языка. Эклеры с выползающим, словно гной, заварным кремом, черные, поблескивающие шоколадные кексы, похожие... похожие... Лучше об этом не думать.

Что же вас мучает?

Повторяю: Мария, что вас мучает? Ответьте же, дорогая.

Мария мотает головой.

Тоска по родине?

Мотает.

Несчастливая любовь?

Мотаает.

Не хочется жить?

Мотаает.

У психиатра скорбно урчит желудок, словно глубоко под землей прогромыхал поезд метро. День был долгий, ей хочется поскорее сесть с подружкой за чай, омлет, пирожные, посмотреть телевизор. Надо бы еще заскочить в кулинарию и купить что-нибудь вкусненькое. Семгу? Почему бы и нет? Надо себя иногда и побаловать.

Вы ничего не делаете, чтобы помочь себе, дорогая.

Психиатр не должен говорить таких вещей, но после долгого дня, когда хочется есть и в голове, предвещающая боль, уже постукивают молоточки, слова выскакивают сами.

Сами себе не поможете — никто не поможет. (Когда Мария начала работать в ресторане, госпожа Папандопуло сказала ей: здесь ты можешь есть все что угодно. Она добрая, госпожа Папандопуло.) Да, никто не поможет. Эту истину надо усвоить нам всем.

Но Марии уже не до истин.

Психиатр встает, одергивает бесформенную юбку цвета скисшего молока и застегивает кожаный жакет, поблескивающий свиным салом. Ну что ж, дорогая, приду завтра. А пока я вас хочу кое о чем попросить. Вы мне не откажете?

Мария смотрит в потолок, твердый и гладкий, как глазурь на свадебных тортах Петроса.

Мария!

Молчание.

Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. Прошу об одолжении. Особом одолжении.

Поешьте.

ПОЕШЬТЕ.

Соседка посвистывает, похрапывает, время от времени издавая жалобные стоны, а Мария недвижно лежит на катафалке в затемненной палате и дремлет.

...Из огромных акульих пастей с убийственно острыми зу-

бами змеятся блестящие струйки слюны. Челюсти с хрустом и скрежетом перемалывают еду. Хлещет кровь, острые осколки костей стрелами разлетаются в разные стороны. Брызжет мозг. Чавкают, глотают, давятся, рыгают. Мария, принеси... Поддай... Еще... Тарелку... Бутылку... Это называется порция?.. Длинный язык обматывается вокруг пальца, вымазанного слякотью шоколада. Зубочистка лезет в гигантское дупло, где улиткой свернулось волоконце цыпленка. Кусают. Жуют. Глотают. Отрыжка.

Нет, нет, не могу, не могу!!!

В палату вбегает ночная сиделка, маленькая филиппинка с большими испуганными глазами.

Что случилось?

Нет, нет, нет, нет!!!

Соседке снился изумительный пирог со свиной. Только подумайте, перебудила всю палату. И так каждую ночь. Ей давно пора в психиатричку.

Мария, проглоти эту таблетку.

Проглоти!

НЕТ!

Уговоры, лесть и угрозы не помогли. Пришло время свернутых кишками резиновых и пластмассовых трубок. Время шприцев, похожих на те, которыми Петрос глазирует торты. Мария мечется по катафалку, а руки, что поначалу мягко удерживают ее, становятся все нетерпеливее и жестче. Она протестующе вопит. Бьется пойманной рыбкой. Минутку, это ее успокоит. Пот на лбу доктора поблескивает, как тошнотворный бриллиантин Такиса. Он сейчас похож на клиента в ресторане, разгоряченного обилием еды и напитков. Глупая телка, бормочет он. Доктор, даже очень молодой, не должен говорить таких вещей. Но вчера на вечеринке он поругался со своей девушкой, и теперь при малейшем движении у него такое чувство, словно по затылку бьют кувалдой. У нигерийки руки крепче. Если бы, милочка, вы были поумней и не отказывались есть, обошлось бы без мучений. Иголка глубоко вонзается в тело.

Раньше у нее протестовал желудок, рот, язык, зубы, горло, теперь протестуют все слабые, истощенные клетки организма. Непостижимо, но они отвергают то, чем их пичкает потный, краснолицый врач. Нет, не знаю. Не могу понять. Никакой реакции. Удивительно, но факт. Седой, во всем разочарованный консультант тоже ничего не понимает, но у него в запасе «умные» научные термины.

В ней осталось не больше тридцати килограммов, нигерийке было бы по силам таскать ее на руках, как своего сынишку, но красота Марии не поблекла, а расцвела еще ярче. Даже молодой доктор, несмотря на стук в висках и резь в глазах, замечает, какая она красивая. Шаркая замшевыми тапочками, он выходит из палаты в длинный белый коридор, и вот... совсем еще маленький, он тащится по известковому холму около их дома в Брайтоне за отцом, тоже доктором, и за еле ковыляющим спаниелем. Под кустом ему попадается кость, беленькая, кое-где отливающая изумрудом, похожая на маленькую скрипку. Мальчик ее поднимает и, любуясь, вертит в пальцах с обкусанными ногтями. Какая крепкая, гладкая, чистая. До чего красива! Но отец раздраженно оборачивается и кричит: Ты чего застрял? Потом идет назад вместе с собакой: Что там у тебя? Кость, отвечает мальчик, просто кость. Отец берет ее в руки. Хм, заячий череп. Думаю, что заячий. Или кошачий. Но играть мы с ним не будем. Негигиенично. Взмах руки, и кость, блеснув на солнце, исчезает. Все! Мальчику хочется заплакать, но он заранее слышит презрительный сухой голос: С чего это ты развел сырость? — и убегает вперед. Собака остается с отцом.

Косточка — крепкая, гладкая и чистая — лежит сейчас на катафалке. Снова, как много лет назад, ему хочется заплакать. Но седой, во всем разочарованный консультант или нигерийка с большой высокой грудью обязательно спросят: С чего это вы развели сырость? Нет, плакать ему нельзя. И он идет коридором дальше, шаркая замшевыми тапочками по натертому до блеска паркету.

В этот день ресторан госпожи Папандопуло закрыт.

Я любила ее как дочь, говорит она. Ничего больше я для нее сделать не могу. У госпожи Папандопуло нет дочерей, хотя ей всю жизнь хотелось; а Петрос — вроде бы такой послушный, — сколько бы она ни находила ему невест, сколько бы ни пилила, чтобы женился, упрямится, и все тут.

Но почему, почему, почему? — зовет тетушка Сотирия.

Почему? — подхватывают все хором.

Тоска по родине?

Несчастливая любовь?

Надоело жить?

Почему у нее пропал аппетит? Они смущены, сбиты с толку: ведь у них-то самих аппетит неизменно отличный.

На похоронах дядюшка Костас плачет навзрыд, вспоминая жену, надрывавшую грудь кашлем в голодные годы оккупации, дочь, истекшую кровью при родах, сына, проглоченного ненасытной утробой Нового Света и все равно что мертвого; вспоминает он и убитых немцами товарищей, всех своих соотечественников, пропавших в море, раздавленных на автострадах, сожженных лихорадкой в переполненных больничных палатах. Он так закусывает губу, что, кажется, вот-вот брызнет кровь. Петрос волнуется, вынул ли нахальный поваренок из холодильника торт — чудо кондитерского искусства. А Сью, равнодушно поглядывая на свежую могилу, запахивается глубже в искусственную шубу и мечтает о настоящем, дорогом мехе, как на этой старой камбале.

В ресторане они какое-то время толпятся вокруг чугунного воздухонагревателя, тянут к нему лиловые от холода руки, чувствуя, как кожа на лице расправляется и горит. Помаленьку глухо ноющие тела оттаивают, а вместе с холодом исчезает и скорбь. Петрос спешит на кухню и тонким, гнусавым голосом песочит нахального поваренка. Я же тебе говорил. Почему ты не прикрутил газ? Я же говорил. Почему не откупорил бутылки? Я же говорил. Почему не вынул из холодильника торт?

Все согласны, что стол роскошный. Кто-кто, а госпожа Папандопуло принять умеет. За расходами не постоит, да и

где еще найти такого повара, как Петрос? Гости потягивают из чашек дымящийся суп *avgolemono*. Ломая свежие булочки, пихают их в рот, и Сью с куском за щекой выглядит так, будто у нее флюс. Они расхватывают бараньи отбивные и прямо из рук рвут их зубами, брызгая жиром на подбородки, а у тетюшки Сотирии жир даже на накрахмаленной кофточке с вышивкой. Рюмки быстро пустеют, обнажая на краях салные отпечатки, но дядюшка Костас уже размахивает следующей бутылкой, кропя чистую льняную скатерть кровавыми брызгами. Петрос, всегда такой женственный, тоже берет *keftedaki* прямо руками и обкусывает, обсасывает. Его мать вздыхает, отрыгивает, бормочет «пardon» и, найдя среди тарелок место для локтей, поглубже забирается в кресло. Кругом теснятся другие родственники, другие знакомые и какие-то люди, которых никто не знает,— и все они хлеблют, глотают, сосут, жуют.

Внезапно тетюшку Сотирию где-то под сердцем, словно болью от несварения, пронзает мысль о Марии, их маленькой Марии, пушиночке, придавленной холодной сырой землей. Слезы сами собой текут у нее по щекам, а зубы все еще продолжают глотать куриную ножку.

Что с тобой, моя Сотирия? А?— спрашивает дядюшка Костас.

Хруст, треск, посасывание.

Что с тобой? Что с тобой?

Девочка. Бедная девочка!

Мария. Лицо Кирии Папандопуло делается печальным, и она накладывает себе еще *stifado*.

Мария!

Бедная, бедная, бормочет Сью, красным ногтем выковыривая из передних зубов мясную жилку.

А как она любила торты Петроса! Госпожа Папандопуло стонет — от горя и от тяжести в желудке.

Я носил торт в больницу, говорит Петрос, печально покачивая головой, но она была так плоха, что не съела ни кусочка. Пришлось отдать больным. Духу не хватило забрать назад.

Дядюшка Костас нетвердо встает, седые волосы слиплись на лбу, лицо красное и потное, как после бега. Давайте выпьем, говорит он и высоко поднимает рюмку. Выпьем в память нашей маленькой Марии.

Мария.

Мария.

Наша маленькая Мария.

Сью сковыривает длинным ногтем вишенку с торта, и Петрос зло косится на нее. Бросив вишенку в рот, Сью подтягивает — Мария!

Если бы она могла быть с нами тут, за этим праздничным столом, всхлипывает тетушка Сотирия.

Если бы!

О, если бы!

Нахальный поваренок, пошатываясь от тяжести и астматически дыша постоянно открытым ртом, вносит на огромном блюде молочного поросенка — все в восторге. Поросенок весит больше, чем тело девушки, преданное земле.

Воскресные газеты

— Милый, ты не забыл прихватить воскресные газеты?

— Оставил в самолете.

— Черт! До чего паскудно!

Минутой позже в сад спустился мальчик и подошел к ним.

— Папа не забыл привезти воскресные газеты?

— Нет, Марк, твой папочка их не привез, хотя я напоминала вчера по телефону.

— До чего паскудно!

— Ты не должен произносить таких слов, Марк. Сколько раз напомирать? Гнусные, серые слова, свидетельствующие о явной бедности.

— Ты ведь все время твердишь, какие мы бедные,— сказал мальчик.

— Я сейчас имею в виду бедность воображения и речи.

— Может, мне не бриться, не завтракать, не распаковывать чемоданы, а мчаться на машине обратно в Милан и попросить в агентстве Алиталии: «Будьте так добры, я оставил в самолете воскресные газеты, а они мне нужны — моя дорогая жена и мой дорогой сын не могут без них прожить?»

— Какое благоденствие! Но не стоит беспокоиться, как-нибудь проживем.

— Пап, а ты купи их в Комо. В Комо их уже наверняка получили. По понедельникам они там продаются.

— Папа не будет зря жечь бензин. Если не можешь без них обойтись, отправляйся туда сам.

— Мне-то что. Я думал, они тебе нужны.

У зеркала за туалетным столиком миссис Ньюман закалывала шпильками пучки сухих тонких волос и сквозь приоткрытое окно спальни слушала дочку, зятя и внука. Две шпильки торчали у нее во рту, а третью она случайно выронила, и та застряла в мягком ворсе ночной рубашки. Глаза у нее болели, словно их слепило сверкание шпага, что скрещивались сейчас в саду около шезлонгов, грязной посуды после завтрака и дремлющих собак.

— В общем-то жаль, мам. Мне хотелось кое-что посмотреть в приложении к «Обзерверу».

— Что делать — теперь не согласишься. В гостиную добрая сотня книг, бери и читай.

— Я их прочитал.

— Все? Не мели чепуху. А если книги тебе не по силам, возьми тяпку и поработай в саду.

— По-моему, этим должен заниматься Джованни.

— Джованни не может всего успеть, хоть мы ему и платим, сколько садовникам на озере Комо сроду не платили.

— Эллиен, кофе остыл.

— Конечно, остыл, милый. Мы уже давно отзавтракали.

— Ты не сварьшь другой? Или я требую невозможного?

— Свари сам. Ты же видишь, я устроилась позагорать.

— Прилетаешь черт знает откуда, чтобы пару дней побыть с семьей, и на тебе. Хорошенькая встреча!

— О боже, какая тоска!

— Мальчишка в пятнадцать лет не имеет права тосковать. Я и слова-то такого в твоём возрасте не знал. Тоска! Тебе-то чего не хватает?

— Ты должен признать, Джек, что жить на этом озере совсем не весело.

— Тогда на кой черт тебе понадобилась здесь вилла? Господи, человек прилетает из самого Лондона меньше чем на неделю — и не может выпросить чашку кофе.

— Это мне понадобилась здесь вилла? Не придумывай! Я только сказала, что неплохо бы иметь какое-нибудь пристанище в Италии. А уж эту дыру ты умудрился выбрать сам.

Шпаги все сверкали в залитом лучами саду под окнами, но миссис Ньюман смотрела поверх них на спокойное озеро и на его дальние заводы, покрытые переливчатыми косыночками тумана, концы которого уползали в горные расщелины. Вдалеке, у отеля «Bellevue», стояли три туристских автобуса, и, прикрыв глаза от низкого утреннего солнца, можно было разглядеть, как в них забирались человечки в ярких платьях, ярких рубашках и брюках. Ей вспомнился цокот копыт по узкой извилистой дороге, которая теперь превратилась в шоссе. Она вспомнила кривоногого горбуна — похожий на сморщенного старого жокея, он продавал пахнущую розами нугу с забавного ларька на колесах. Вспомнила, как потеряла зонтик с ручкой в форме лебединой головки из слоновой кости, — видно, забыла его в лодке. Вспомнила потных волосатых итальянцев, игравших в *боссиа** на траве у отеля, и как их громкие, сердитые голоса (на самом-то деле они вовсе не сердились) вдруг затихали, когда она или другая иностранка проходила мимо.

— Ты ничего не помнишь. *Ничего!* Только я тебя о чем-нибудь попрошу, ты тут же забываешь.

— Зато я помню о более важных вещах, чем газеты. Например, о деньгах, чтобы ты и этот лоботряс, твой сын, могли роскошно жить на вилле. Не говоря уж о твоей матушке.

* Итальянская игра с деревянными шарами.

— Этот лоботряс, мой сын — точнее, *наш* сын! — только что кончил трудную четверть.

— В трудности я поверю, когда увижу отметки.

Шпаги продолжали сверкать, и глаза болели все сильнее. Она плеснула одеколона на носовой платок и приложила к морщинистым щекам, сначала к одной, потом к другой. Кожу приятно защищало. Вдохнув, миссис Ньюман взяла сумку и палку с резиновым наконечником. У нее была другая палка, получше, с рукояткой, словно пригнанной к ее маленькой подагрической руке, но мальчишка ее сломал — бог знает, что он там делал в лесу над виллой — то ли гнезда сбивал, то ли орехи.

В саду она подошла поцеловать зятя, плотного, лысеющего бизнесмена с сизыми щеками, к которому за столько лет так и не смогла привыкнуть. Он, как всегда, опустил ей на плечи руки, будто хотел поставить на колени, подчинить своей воле. Шершавые щеки оставили на губах привкус соли.

— А папа забыл воскресные газеты.

— Хватит! Чтобы я больше не слышал ни одного слова об этих паскудных газетах!

— Тебе обязательно ругаться при матери?

— Можно подумать, она первый раз слышит.

— Бабуль, куда это ты?

— Хочу немного пройтись.

— Ради бога, не надо, мама! Зачем тебе? День будет адски жарким. Это ясно и без газет. Лучше посиди с нами в саду.

— И сделайте себе кофе, мама. А заодно и мне — ведь от жены и сына не дождешься.

— Боже, ну и тоска с утра пораньше!

— Женщина, у которой нет никаких забот, не имеет права тосковать. Будь ты женой Джованни, тебе пришлось бы стирать чужое белье.

— А будь я его дочерью, то шлялась бы по панели в Милане. Слышали мы это.

Миссис Ньюман открыла ржавые железные ворота с до-

щечкой «*Attenti ai cani*»*, хотя обе собаки только ели да спали, и стала спускаться вниз по булыжной *muletiera*** . Тот, кто ее делал, имел явно превратное представление о длине человеческого шага. Чтобы спуститься на ступеньку, надо было сделать либо один крупный шаг, либо два — нормальный и мелкий, детский. За высокой стеной, увитой глицинией (странно, но глициния теперь будто не пахнет), все еще раздавалось бряцание и лязганье трех шпаг.

Навстречу ей по тропе взбирался старик с мешком через плечо, в тяжелых ботинках и черном блестящем пиджаке из альпака. Увидев ее, он остановился, положил руку на поясницу и заулыбался, обнажив щербатые, желтые от курева зубы.

— *Buon'giorno, Signora****.

В груди у него хрипло свистело. До Джованни этот старик больше сорока лет ухаживал за садом, но однажды новые хозяева на него накричали, и хотя толком упреков он не понял, все-таки ушел и больше не вернулся. Семейство разнесло по соседям, что он их бессовестно подвел и обманул, но сами они так и не заплатили ему несколько тысяч лир, и старик, видимо, говорил про них то же самое.

— *Buon'giorno, Bruno*,— ответила миссис Ньюман.

Она бы с удовольствием остановилась перекинуться с ним словом на своем северном итальянском, но преданность семье пересилила. «Как ты можешь разговаривать с этим гнусным типом после всего, что произошло?»— злобно спросила ее как-то дочь, наткнувшись на них у ворот виллы.

Через озеро уже бежал катерок на подводных крыльях, над «ужас до чего изящным» названием которого — «*La Freccia delle Azalee*», «Стрелка азалии»— всегда смеялся зять. Вблизи катер был вовсе не красивым, но отсюда выглядел грациозно — словно лебедь, подумалось ей, низко летящий над самой водой. Миссис Ньюман испугалась, что не успеет к причалу вовремя,— катер шел явно раньше расписа-

* Осторожно, собаки! (*итал.*).

** горная тропа лестницей (*итал.*).

*** Доброе утро, синьора (*итал.*).

ния; заторопившись, она споткнулась о булыжник и сильно ударилась о выступ горы. До чего быстро появляется в старости кровь! В том месте, где камень ободрал руку, уже набухали малиновые бисеринки. Сосредоточенно нахмурившись, закусив губу, она вынула из лифа платочек, прикрыла им бисеринки и так ушла в это занятие, что сразу и не почувствовала пульсирующую боль в лодыжке. Стоило ей, однако, тяжело опираясь на неудобную палку, двинуться, как боль усилилась — словно две косточки терлись одна о другую. Неужто я сломала ногу? Нет, тогда я вряд ли смогла бы идти.

Моторист увидел, как она хромает вниз по ступенькам, и, раз катер подошел раньше, решил дождаться. Ничего не подозревая, миссис Ньюман все ускоряла шаг, махала ему палкой, даже кричала с сильным акцентом:

— *Aspetta. Momento. Vengo**.

На пристани она купила билет в оба конца, и лодочник протянул ей сухую, заскорузлую ладонь, чтобы помочь подняться по узким сходням. Задыхаясь, миссис Ньюман поблагодарила его: «*Grazie. Grazie mille*» — и вошла в душный, набитый салон, где сидели итальянки с корзинами и детьми, около дюжины полуголых немецких туристов и, развалясь, пытели сигаретами местные школьники, хотя на стенке висело объявление «*Victato fumare*»**. Она огляделась в поисках свободного места, и хорошенькая немочка с такой прозрачной кожей, что косые лучи из иллюминатора, казалось, просвечивали ее до косточек, поднялась и сказала: «*Bitte*»***. Она была в коротеньких шортах с бахромой, блузке и явно без лифчика.

— Не надо, милая... — заволновалась миссис Ньюман, ощутив, как от близости юности, здоровья и красоты у нее перехватило в горле.

— Пожалуйста! — на этот раз по-английски произнесла немочка.

Миссис Ньюман села. Забыв про платок с корочкой за-

* Подождите. Минутку. Я иду (итал.).

** Курить запрещается (итал.).

*** Пожалуйста (нем.).

пекшейся крови, про боль в лодыжке, не замечая криков и возни школьников, она откинула голову на грязную спинку. Как чудесна свежесть и быющая через край жизнь в этой девушке и ее спутниках, как расцветают их серьезные лица, когда солнце внезапно высвечивает и зажигает бликами все новые просторы озера!

— Schön! Wunderbar! Sehr schön!*

Один раз девушка повернулась к ней и улыбнулась, и между ними тут же возникло какое-то странное родство, хотя они никогда не встречались прежде и скорее всего никогда больше не встретятся. Прохладный ветерок обвевал голые руки, шею и лоб. Сквозь иллюминатор она видела отель «Bellevue», и ей снова вспомнилась пахнущая розами нуга, потные волосатые мужчины с большими руками, их крик, смех и откровенные, ощупывающие взгляды, которыми они провожали иностранок. Туристские автобусы на берегу уже уехали.

Когда она спускалась с катера, всю жарило, лодочник снова протянул ей сухую, заскорузлую руку. У него были длинные вислые усы, а волосы посерединке рассекал прямой пробор, точно такой, как у щеголей в отеле «Bellevue» начала века.

— Buon divertimento**, — сказал он, чем очень ее позабавил. Какие там «divertimento» в моем-то возрасте, чуть было не ответила она.

В первом же киоске, куда они обычно заглядывали, она справилась о газетах, но продавщица только передернула плечом и буркнула, что воскресные газеты, может, еще не поступали, может, уже распроданы — вон сколько кругом туристов. Она не вникала. Миссис Ньюман слегка склонила голову и поблагодарила: «Grazie», но женщина уткнулась в «Oggi» и даже не шелохнулась.

Улица к собору оказалась куда длиннее, чем ей помнилось, и по ней сновало множество народу — взявшись за руки,

* Хорошо! Изумительно! Очень хорошо! (нем.).

** Приятных развлечений (итал.).

с колясками, с большущими собаками, которые недавно вошли в моду. Многие шли прямо на нее, и она едва успевала уворачиваться. Платок с руки упал. С трудом нагнувшись среди всей этой толпы, она подняла его, но решила, что теперь он пыльный, и засунула в сумку. От засохшей крови он был ломким, как сухой лист.

Наконец она пробралась к киоску у собора. Немцы оказались там раньше, и ей пришлось терпеливо ждать, пока они, хихикая и отпуская шуточки, листали журнал с фотографиями голых женщин. Парни вырывали журнал друг у друга из рук, суматошились, толкались, а девушки смотрели на них со снисходительными улыбками. В конце концов миссис Ньюман набрала газет и заплатила за них. Прямотаки непомерная сумма! Чуть ли не два фунта. Затем, прихрамывая, она двинулась назад. Нет, лодыжка определенно распухла, определенно. Но газеты-то при ней, и это наполняло ее душу тихим торжеством.

У причала она присела на каменную скамью — сухонькая, сгорбленная, не особенно привлекательная старая женщина в розовом чесучовом платье, розовой соломенной шляпке и старомодных туфлях с застежками, — присела и стала ждать, пока катер, неуклюжий металлический лебедь, доплывет до нее по сверкающей глади с другого берега. На газеты, которые оказались куда как тяжелыми, она не смотрела, она любовалась озером: солнце поднималось, и водные просторы словно становились все шире, горы все выше уходили в бледную синеву неба, а виллы, церквушки и россыпи красноверхих домов на той стороне все глубже прятались в темную зелень. Теперь ей вспомнилась маленькая *varoretto**; вшестером — все молодые, все англичане — они поплыли от отеля «Bellevue» в Комо, и над ней еще смеялись, потому что ее укачало, хотя до Комо было рукой подать. Рядом с миссис Ньюман остановился ребенок с обручем и уставился на нее с откровенным любопытством, и тогда она тоже уставилась на него и сделала попытку улыбнуться, но ответа не получила.

* лодка (итал.).

— Mario. Vieni qua*, — раздался визгливый крик нагруженной свертками мамыши, и мальчик с обручем в одной руке и палочкой в другой, волоча ноги и часто оглядываясь, ушел.

Моточник снова помог ей подняться на катер, пробормотав что-то о слишком уж скором возвращении. Но она утомилась и не стала объяснять ему про воскресные газеты. Просто улыбнулась. После утренней суеты и шума катер казался сейчас совсем пустым, в салоне сидела только пара таких же стариков, как она, может, старше — сидели очень прямо, прижав руки к бокам, не глядя друг на друга, не разговаривая. Оба были одеты в черное, на ней даже чулки были черные, а на нем галстук. Видно, ехали кого-то хоронить или возвращались с похорон.

Солнце стояло в зените, каждый булыжник *muletiere* блестел в его лучах, словно смоченный водой, и подъем показался ей таким крутым, что, преодолев пару ступенек, миссис Ньюман решила вернуться и пойти по дороге, хотя так было дальше. Она, правда, забыла, что дорога без тротуара, и каждый раз, как мимо проносилась машина, она вжималась в стену. Глупо, конечно, она это сама понимала: дорога широкая, и места всем хватает. Но ничего не могла с собой поделаться. А почему не проголосовать? — осенило ее. Ведь внук, если было лень тащиться с пляжа или от магазинов, ездил попутками. Миссис Ньюман остановилась и, когда внизу у поворота натужно вывернулся похожий на красного жука «фиат-126», нерешительно подняла вверх указательный палец. Но машина провизжала мимо. Зато идущий следом грузовик остановился. В нем сидел местный мясник, который, по словам дочери, всегда драл с них больше обычного, потому что они иностранцы. Мясник был толстый, веселый. От него пахло сырым мясом, а вокруг ногтей темнели красные ободки — видно, следы крови. Он стал спрашивать, где она была, и, когда миссис Ньюман объяснила, он сказал: «E bello il giro»**, а она

* Марио. Иди сюда (*итал.*).

** Отличная прогулка (*итал.*).

ответила: «Да, конечно». От усталости ей все еще не хотелось рассказывать на своем запинаящемся итальянском про воскресные газеты.

— Где же ты пропадала?— Дочь по-прежнему возлежала в шезлонге, ее голый живот и ноги блестели от крема.— Мы уже стали волноваться. Не нравится мне, когда ты где-то бродишь.

— Я ездила в Комо.

— В Комо?— Зять тоже загорал в шезлонге, почти голый.

В доме крутил пластинки ввук.

— Ради бога, потише!— завопил зять.

— Купила вам воскресные газеты.

— Не ори на мальчика. У него каникулы.

— Хоть ставил бы что-нибудь путное. «Битлз» еще ладно! Но часами крутить дерьмо...

Послышался скрежет иглы. Словно разодрали шелк, подумала миссис Ньюман. В окно высунулось перекошенное лицо.

— Могу я хоть иногда делать, что мне нравится?

— Если не будешь мешать своему дорогому папочке.

— Пора вырасти из «Бей-сити роллерс». Детская дребедень.

— Может, мне целый день слушать симфонии Бетховена? Не припомню, чтобы ты их покупал.

— Бетховен был бы большим шагом вперед.

— Оставь ребенка в покое.

— Я купила вам воскресные газеты.

Никто, казалось, не слышал ее. Сердитое лицо мальчика исчезло в окне. Дочь блестевшей от крема рукой поправила маску на глазах. Зять, посасывая трубку, впился в детектив. Тогда миссис Ньюман положила газеты на пустой шезлонг и пошла в дом. Никто их не возьмет, даже не взглянет, она это знала. Но как ни странно, вместо разочарования чувствовала радость. Все-таки я их купила, думала она. И без особых трудностей. Даже получила удовольствие. Чем не приключение? Сегодня у меня самый счастливый день на этой вилле.

Она поставила палку на подставку, осмотрела ободранную руку и, прихрамывая, пошла через холл на кухню. Как и следовало ожидать, картошка стояла нечищенной. Дочь терпеть не могла ее чистить и убедила себя, что матери эта работа в удовольствие. Стараясь не обращать внимания на боль в ноге, миссис Ньюман принялась за картошку. Рано или поздно пошлют за врачом, и тот вправит лодыжку. Она чистила и пела чуть надтреснутым, но все еще твердым и верным голосом: «Vilia, oh Vilia...» Нет, прекрасное утро. Такого прекрасного утра у нее давно уже не было, очень давно.

Дочь и зять — мальчишка тем временем уже выключил проигрыватель — прислушались.

— У матери ни с того ни с сего чудесное настроение,— заметил зять, а дочь сказала:

— Интересно, чему это она так радуется?

Голоса

1

В годы сомнительной славы и утомительных разъездов, в долгие часы, проведенные в жарких телестудиях и в прохладных лабораториях, лежа в одиночестве и в объятиях Кришны, Перл всегда помнила о том первом мгновении, когда поняла, что может Слышать. Утенок ступает в воду, птенец подымается в воздух. Миг сомнения, минута страха — и вот уже новая стихия становится привычной и естественной...

Ранним летним утром Перл — восьмилетняя девочка с перламутрово-бледной кожей, светящейся сквозь ночную рубашку, — стоит за сетчатой занавеской у окна мансарды. На лбу и голых руках выступил пот. Длинный узкий газон уже освещен солнцем, тем самым солнцем, из-за которого в последние дни она чувствует себя обессиленной и вялой; но сегодня ночью она слышала (или ей только показалось?)

отдаленные раскаты грома, будто гигантский молот стучал по земле. Перл зевает, смотрит в окно, приподняв своей тонкой рукой край занавески. По газону идут под ручку две женщины, ее мать и тетка, тоже еще в ночных рубашках; темные следы на росистой траве светлеют и исчезают под лучами солнца. Они идут к саду, и их полные фигуры, покачиваясь в такт шагу, иногда соприкасаются — одно податливое тело с другим податливым телом, а головы склоняются друг к другу. Но с этой верхотуры под крутой крышей, которая раскалена даже ночью, так что невозможно уснуть, Перл не слышит, о чем они говорят. У ее матери волосы смоляно-черные, как у цыганки, у тети Марион — с проседью, они прикрывают шею и толстый морщинистый загривок. Перл представляет, как шелестят их ночные рубашки, когда с коротко подстриженного газона (вчера наконец отца заставили его покосить) они входят в сад с высокой и влажной от росы травой, замедляя шаг, словно осторожно ступая в море. Перл знает, куда они направляются. Возле дальней стены, которая крошится, словно бисквитный торт, какой тетя Марион обычно печет к чаю, стоят персиковые деревья с отяжелевшими от плодов ветвями. Женщины подходят к ним и перестают держаться за руки, будто приступают к исполнению некоего таинства или обряда. Солнечные блики на вытянутой руке. Это тетя Марион, поднявшись на цыпочки, срывает большой спелый персик с одной из верхних ветвей. Она заприметила его несколько дней назад и терпеливо и настойчиво ждала. Вот мать Перл тоже поднимается на цыпочки и пробует, пробует, пробует плоды осторожными пальцами, стараясь не помять и не сорвать недозревший. Перл высовывается из окна, высокий подоконник упирается ей в плоскую худую грудь. Капельки пота выступают на верхней губе, и, проведя по ней языком, Перл ощущает горьковатый вкус соли.

Движения женщин, срывавших плоды, были странно бесцельны и томны; а теперь они с торопливой жадностью впиваются в сочную мякоть, сок бежит у них по подбородку и капает на ночные рубашки. Тетя Марион глядит

на сестру исподлобья, потому что сквозь золотые очки солнце бьет ей прямо в близорукие глаза; очки вспыхивают на солнце. Мать говорит что-то, и обе женщины смеются. Если бы только она, Перл, стоящая светлым пятном в окне мансарды, могла их слышать! Она-то знает, они живут в своем особом, тайном мире, где томное срывание персиков — лишь еще один обряд, к которому ее не допускают. Если бы... Но вдруг утенок ступает в воду, птенец подымается в воздух. Миг сомнения, минута страха, и вот — она слышит их...

У тебя нет другого выхода. (Тетя Марион швыряет персиковую косточку в высокую траву.)

Да, но... (Мать, опять привстав на цыпочки, ищет персик среди листвы, подпрыгивает, рвет.)

Надо решиться. (Тетя Марион тоже поднимает руку, пробует персик, ей не нравится, пробует другой.)

Но ведь девочка, ради нее...

Ей будет гораздо хуже, если ты останешься с ним.

Да, но...

С ним тебе никогда житья не было и не будет.

Но все-таки...

Нет, Айлин, никогда не было.

Ну, все же...

Промотал твои деньги, тебя превратил в служанку, не может удержаться на работе.

Да, но...

Вечно полупьяный, ленивый, неисправимый, неисправимый, неисправимый.

Теперь Перл слышала даже, с каким отвратительным звуком смыкались их челюсти, как они сглатывали слюну, всасывали сок; а они все жевали, говорили, опять жевали. Но Перл не хотела больше слушать. Она услышала достаточно. Она подбежала к постели, быстро легла, натянула на голову простыню, а сверху еще и подушку. А голоса продолжали:

Надо решиться.

Но все-таки...

Плохо для ребенка, плохо для тебя. Или сейчас, или никогда. Оставь его.

Конечно, если...

Не может быть никаких «если». Скажи ему сегодня же. Будь умницей. Сразу, как он проспится.

Но, Марион...

Скажи ему.

Как ни старалась Перл поглубже зарыться в простыни, крепче прижать голову подушкой, она все равно слышала их голоса. Она вступила в новую стихию, которая подхватила и понесла ее, словно сильный поток горячего воздуха, все выше и дальше, помимо ее воли.

2

В тот день Перл впервые узнала, что может Слышать. Вскоре она заметила, что иногда Слышит и не желая этого, а еще скоро поняла, что никому на свете, даже матери и тете Марион, не надо говорить, что она может Слышать.

Они уехали из этого дома, и спустя годы в памяти Перл осталась только тесная спальня в мансарде, окно (такое высокое, что подоконник упирается ей в плоскую худую грудь) и две женщины, ранним летним утром оставляющие следы на серебристой траве и томно поднимающие руки, чтобы сорвать спелые персики в дальнем конце буйно заросшего сада.

В доме был мужчина, про которого часто говорили, что он «болен», и часто запрещали Перл заходить к нему в кабинет, где он проводил большую часть времени с тех пор, как перестал ходить на работу. Когда-то, давным-давно, он слыл большим весельчаком, да и в те дни еще умел веселиться, хотя его веселость настораживала тетю Марион и мать и они шипели сквозь зубы, когда он расходился вовсю; но в последние месяцы его приступы веселья были непродолжительны, быстро проходили и сменялись дурным настроением и головной болью или взрывом скандала с битьем посуды. Иногда он крепко прижимал Перл к себе, и она чувствовала в его дыхании тяжелый запах трубочного та-

бака и какой-то еще, неизвестный запах, который она ненавидела; и тогда мать и тетя Марион говорили ему, чтобы он оставил ее в покое, что это отвратительно, что она бедная крошка и неужели ему не стыдно.

— В своем собственном доме что хочу, то и делаю, черт побери!— кричал он, отталкивая ребенка. А мать холодно и язвительно переспрашивала:

— В твоём собственном доме?

В общем, чей бы ни был этот дом, они оттуда переехали; сначала в дом поменьше, в бедном предместье, а потом и в квартиру — сырую дыру в большом многоквартирном доме к югу от Клапама Коммона.

По дороге из школы, глядя на приближающийся автобус, Перл ощущает лбом как бы легкое давление изнутри, ощущает хрупким горлом как бы дуновение ветра; и вот — она слышит, сама того не желая. Она слышит разговор двух женщин, которые за две мили от нее в эту самую минуту пьют крепкий горький чай, а на столе перед ними лежит письмо.

Он говорит, это смертный приговор.

А ты и поверила? Он просто пытается разжалобить тебя.

А как же врач...

Откуда ты знаешь? Может, он и не обращался к врачу вообще.

Но ведь цирроз...

Так ему и надо.

Да, но я думаю...

Неужели ты хочешь опять с ним связаться? После того, как скинула эту обузу?

Ох, но нельзя же...

Подумай о Перл.

Наверное, они думают о Перл, этой школьнице с перламутровой, светящейся кожей, потому что наступает тишина, а Перл сидит одна на верхней площадке автобуса и думает о них и об отце, который так крепко прижимал ее к своей груди, выдыхая запах трубочного табака и алкоголя. Он умирает? Нуждается? Совсем один? Она так хочет быть

рядом с ним! Расправить простыни. Войти с подносом и сказать: «Какой чудесный день сегодня!» Поставить ему градусник. Она хочет услышать его голос. Но как ни старается, как ни пульсирует от напряжения жилка на лбу, Перл почему-то его не слышит. Наверное, он слишком далеко от нее.

Пробежав все расстояние от автобусной остановки, Перл влетает в дом.

— Ты что как на пожар?— спрашивает тетя Марион; а мать, пряча письмо под скатерть, говорит:

— Верно, догадалась, что тетушка испекла бисквитный торт.

(Желтая стена за персиковыми деревьями крошится в солнечных лучах раннего утра; персики налиты соком.) Перл кричит:

— Он болен? Я хочу к нему! Где он? Почему вы мне не сказали?

Женщины смотрят друг на друга в изумлении, потом сердито поворачиваются к ней:

— Опять подслушиваешь?

— Ты почему так рано ушла из школы?

— Просто притворяешься, что всю дорогу бежала от автобуса и только что вошла.

— Я тебя предупреждала.

— Вечно торчишь за закрытой дверью и ушки на макушке.

— Чтоб это было последний раз!

— Я...— Перл замолкает. Она знает, что никогда в жизни не скажет им, что может слышать.

Но постепенно женщины догадываются, и это пугает их так, что они не решаются высказать свою догадку даже друг другу.

— Какая забавная крошка! (Тетя Марион, сосредоточенно нахмурившись, взбивает масло с сахаром.)

— Будто читает чужие мысли. От нее ничего не скроешь,— соглашается мать, удрученно подсчитывая расходы (электричество, газ, квартплата) на оборотной стороне кон-

верта, в котором — еще одно письмо от него, написанное неразборчивым почерком, еще одна мольба (даже пара фунтов его бы выручила). — От этого как-то не по себе. Нет, правда. Удивительные способности.

Но вот отец умирает; и хотя тетя Марион советует матери: «Не стоит говорить ей об этом. Зачем ее расстраивать?» — она слышит их далеко от дома, из булочной, куда пошла за хлебом, и врывается в комнату с криком:

— Почему вы не пустили меня к нему? Почему? Хотя бы раз, только один раз! Теперь я никогда его не увижу!

Обе женщины поражены, испуганы, и, обращаясь скорее к самой себе и сестре, чем к девочке, тетя Марион приказывает:

— Возьми себя в руки!

3

Года через три после этого случая их жильцом стал Кришна. До Кришны у них жил турок, которого тетя Марион попросила съехать, потому что он мочился в постели, а после него — араб, который всякий раз, как оставался наедине с Перл, пытался погладить ее едва наметившиеся груди («Это наша с тобой тайна. Никому не говори — ни маме, ни тете, Берл». У него никак не получался звук «п»). Кришна был красивый, гибкий и хрупкий на вид, словно какое-то экзотическое растение, может быть, растение из его родной Индии, что стоит в гостиной северного жилища и тянется слабыми ветвями к далекому солнцу; но сердцевина растения была необычайно жилиста и живуча. Его комната в мансарде напротив комнаты Перл была завалена всякими вещами, нужными ему для занятий. Стипендиат Имперского колледжа, он, по мнению Перл, был гораздо умнее всех своих сокурсников. Его ладони, когда он держал обе ее руки в своих, были удивительно мягкие и прохладные. На девически тонком запястье — золотой браслет. Когда он занимался, сидя за столом, его длинные до плеч волосы покачивались из стороны в сторону. И если Перл, закрыв глаза, касалась их рукой, они напоминали ей

траву. У него был маленький крючковатый нос, похожий на клюв хищной птицы, и огромные глаза в темных глазницах, которые, казалось, видели ее насквозь и проникли в ее тайну в первый же миг их встречи. Кришна сразу понял, что она может Слышать. Ей не пришлось даже говорить ему об этом.

— Возможно, это гиперестезия,— размышлял он вслух своим певучим голосом.

— Гипер — что?

Кришна объяснил:

— Был такой Гилберт Мёрри. Он уходил из комнаты в другой конец дома; через некоторое время его звали обратно, и он рассказывал, о чем говорили в комнате, пока его не было.

— Но я ведь слышу не с другого конца дома. И даже не с другого конца улицы. Это может быть... ну... за несколько миль отсюда.

Кришна ухмыльнулся; он, в общем, не поверил ей, думал, что она хвастает, как все дети. (В конце концов ей было только четырнадцать лет.) И начал терпеливо проверять ее, заставляя сосредоточиться, когда она чувствовала нарастающее давление на лоб изнутри и ощущала горлом дуновение ветра даже в самый безветренный день; и, словно по волшебству, Перл рассказывала ему, что ее тетка говорила матери или что говорил он сам кому-нибудь из них, пока она была далеко от дома — в школе, в магазине, в парке. И он приходил в замешательство так же, как и врач, когда у Перл несколько дней подряд держалась температура без каких-либо других признаков болезни. Кришна глядел на нее с изумлением, иногда брал обе ее руки в свои (а ладони у него такие прохладные, такие мягкие) и говорил:

— Ты необыкновенная, это ясно как день.

— Но я не хочу быть необыкновенной. Я хочу быть как все.

— Это от тебя не зависит. Разве нет? Просто ты так устроена.

— Но ведь...

— Ты — исключение, Перл. Тебя узнает весь мир. Вот увидишь.

4

Теперь ее знает весь мир. Сначала мать относилась к их затее неодобрительно:

— Надеюсь, ты не хочешь стать всеобщим посмешищем вроде балаганного аттракциона.

Но это посмешище с перламутровой кожей зарабатывает деньги, а ее балаган — весь мир. О ней печатают статьи в газетах. Ее показывают по телевидению, и обе полнеющие сестры с жадностью всматриваются в ее изображение на дрожащем экране, подобно несчетному множеству их соотечественников. Другие дети заявляют, что обладают такой же способностью, но это не так. Несколько недель она проводит в одном американском университете, и Кришна всегда рядом с ней. О ней печатают серию статей в нескольких номерах журнала «Психические исследования». Ее фотография появляется на обложке сразу двух воскресных приложений. Усталость и слабость не покидают Перл ни на минуту, словно она медленно истекает кровью от невидимой раны. Но ради науки, ради самой себя она должна продолжать эксперименты, говорит ей Кришна; а она понимает, что должна и ради Кришны, которого успела полюбить, и ради матери и тети Марион, которым больше не надо брать жильцов и которые переехали из Клапама в Челси. Кришна уверяет ее и окружающих, что она обогнала в процессе эволюции остальное человечество. Когда-нибудь — рано или поздно — каждый человек сможет Слышать. А пока она — единственная, кто обладает такой способностью, ей нужно терпеть все эти разъезды, все эти вопросы, все эти испытания, всех этих людей и эту усталость тоже.

Во время поездки в Цюрих Перл забеременела. Кришна, который сам планирует их жизнь, этого в своих планах не предусмотрел, но он к событиям подходит по-деловому, считая, что ничто не должно мешать их «работе». Конечно

же, говорит он, потом они обязательно поженятся, и устраивает ее в клинику, одну из самых дорогих в Швейцарии, если не во всем мире, где ее освобождают от плода. А может, и ее способность Слышать удалили из нее вместе с плодом? Перл не знает; она действительно очень устала и плохо соображает. Но факт остается фактом, и им с Кришной приходится признать его в сверкающей чистотой лаборатории: это ужасно, унизительно, но она больше не Слышит. Скоро в одном швейцарском научном журнале появится статья о том, что в условиях строго контролируемого эксперимента испытуемая оказалась совершенно неспособной продемонстрировать феномен. В жаркой комнате роскошного отеля Кришна кричит на нее:

— Безмозглая корова! Что с тобой? Почему не стараешься?

Перл кажется, будто из нее выкачали всю кровь. Должно быть, она вытекла черной липкой рекой, когда у нее украли ребенка.

— Ну ладно, что-нибудь придумаем.

Кришна ведь гений в своем роде. Пусть он не слышит, что говорят другие за порогом слышимости, но его профессор однажды сказал, что из всех его студентов-индийцев Кришна чуть ли не самый способный. И вот Кришна закрылся в своей рабочей комнате на верхнем этаже их челсийского дома, а Перл смотрит телевизор в компании двух сестер, которые, догадываясь, что она больше не может Слышать, впервые за много лет чувствуют себя наравне с этой перламутрово-бледной женщиной-подростком.

Через несколько недель Кришна изготавливает электрод размером с однопенсовую монетку, рабочая поверхность которого покрыта тонким слоем милара*. Он говорит озадаченной Перл, что они едут в Барселону, где практикует его кузен, дантист. На самом деле этот кузен — муж его троюродной сестры; и хотя он хороший дантист, в чужой стране трудно найти клиентуру, и потому он вечно в долгах.

* Упаковочная пленка.

— Но мне не нужен дантист!

Кришна говорит что-то о протезировании зубов. Она понятия не имеет, что это такое.

— Доверься мне,— говорит он; конечно, ему меньше всего можно доверять, но Перл верит, потому что любит. Только в номере барселонского отеля, поглаживая ее тонкую руку своими мягкими прохладными пальцами, Кришна говорит, что они с дантистом хотят вернуть ей способность Слышать.

— Как это?

Он объясняет, но она не слишком сообразительна и с трудом понимает его. Устройство, принимающее электромагнитные сигналы на радиочастотах. Преобразователь, соединенный с приемным устройством и с живым нервом корня зуба. Электромагнитные сигналы, преобразованные в электросигналы слышимых частот для передачи их в мозг.

— Но я не понимаю всего этого! И не хочу ничего!

— Все очень просто. Ты что, хочешь, чтобы пришлось продать дом? Выставить на улицу мать и тетку? Ведь нет? И разве сможем мы тогда пожениться и завести ребенка? Тебе не будет больно. И управлять этой штукой очень легко, надо только приспособиться. Языком, вот так. (Он открывает рот и показывает, нажимая длинным выгнутым языком на зуб. Она испуганно заглядывает в малиново-красную полость.) Язык нажимает на хорошо видимый задний зуб. Удивительно мягкая и прохладная ладонь поглаживает ее руку с гипнотической настойчивостью.

Перл вскрикивает:

— Это ужасно! Не надо! Я не хочу Слышать таким образом.

— Ну что ты так волнуешься из-за пустяков? Прими-ка лучше швейцарскую таблетку, которую врач...

— Нет!

Но в конце концов она глотает таблетку и вскоре чувствует сонливость и полную отрешенность и безразличие к тому, что он для нее собирается сделать, словно между Перл, которая когда-то могла Слышать и теперь уже не может,

и Перл, распластавшейся на смятой постели в барселонском отеле, нет ничего общего.

Назавтра они идут к дантисту, волосатому и очень подвижному человеку, чей рот то и дело приоткрывается в улыбке, блестя золотыми коронками и как бы желая сказать: «Смотрите, какой я богатый, вот они, мои сокровища». Он делает ей укол в руку, и она чувствует еще большую сонливость и отрешенность, чем после таблеток накануне, потом еще два укола в рот. Сверлит ей зуб и ставит золотую пломбу с кристаллическим выпрямителем. На это уходит много времени, и дантист вполголоса бормочет проклятия на своем родном и понятном для них с Кришной языке, но Перл ничего не понимает. В какой-то момент он роняет крошечный усилитель, и мужчины опускаются на четвереньки, словно обезьяны в поисках упавшего ореха. Сейчас они нервничают гораздо больше Перл.

Перл неподвижно лежит в кресле, и на ее перламутровобледных щеках блестят слезы.

В какой-то момент она говорит:

— Не надо!

Но те двое, кажется, ничего не слышат.

5

Временами Перл забывала, что не может больше Слышать, что ее дар — только искусная выдумка Кришны, кусочек металла, спрятанный под коронкой. Теперь, когда голоса подступали к ней, она почти не замечала, что они звучат как-то странно, то приближаясь, то удаляясь от нее, как на волнах окружающего ее со всех сторон невидимого моря. Страхи перед разоблачением улеглись, она не просыпалась больше в испарине по ночам, лежа в неудобном гостиничном номере рядом со спящим Кришной, от мысли, при которой бешено колотилось сердце: «Когда-нибудь кто-нибудь догадается. И тогда никто уже не поверит, что я действительно могла Слышать. И будут говорить, что мне всегда помогал Кришна и что мы всегда обманывали».

— Мы только заменили одно чудо другим, дорогая,—

сказал как-то Кришна.— Ведь мое чудо точно так же удивительно, как и твое.

Они быстро богатели.

Кришна посмеивался над учеными:

— Они не умеют наблюдать. Вот фокусники — те умеют. А ученые — как дети. Даже хуже детей. Дети и то наблюдательнее.

Она озадаченно хмурилась, а он продолжал:

— В мире науки большинство людей пытаются доказать правильность той теории, которой они привержены. Для них гипотеза важнее любых доказательств.

И только однажды Перл засомневалась, что человек, говоривший, будто верит в ее способность Слышать, на самом деле этому верит. Это шумный коротышка с вечно бегающими паучьими пальцами, ведущий американской телекомпании, куда ее пригласили для участия в серии передач о паранормальных явлениях. Он так крепко держит ее за локоть, что вечером в номере нью-йоркского отеля Перл обнаруживает синяки на своей перламутровой коже. Когда он наклоняется к ней, Перл замечает у него неприятный запах изо рта и мелкую сыпь на лбу около линии волос. Говорит он очень быстро и время от времени прохаживается между зрителями под прицелом телекамер, словно голодный разъяренный зверь в невидимой клетке.

Люди, сидящие тесными рядами перед ней, открывают рты от изумления. Он восклицает:

— Фантастика! Невероятно! Необычайно!

Ученые скорбно кивают головами, и один из них говорит:

— Сдаюсь. Убедили.

— Никогда не видел ничего подобного,— говорит другой.

Но, прощаясь и держа ее холодную руку в своей потной ладони, знаменитый телеведущий бросает на Перл хитроватый взгляд соучастника. Он как бы молча говорит ей: «Мы оба мошенники и понимаем друг друга». Перл не желает иметь ничего общего с этим шумным, суетливым, самодовольным типом.

— Он о чем-то догадывается,— говорит она Кришне, снимая платье.

— Чепуха! Ты держалась прекрасно. И я тоже.

— Он о чем-то догадывается.

— Не может быть. И слава богу, никто не предложил опять провести полное рентгеноисследование.

Уже дважды Кришне приходилось от этого отказываться: в Геттингенском и в Гейдельбергском университетах. Немцы уж чересчур дотошный народ.

6

Для Перл началось время бурного успеха, гораздо большего, чем в те дни, когда она сама Слышала, и Кришна доволен ею. Она худеет, бледнеет, теряет уверенность в себе, а Кришна говорит, что надо продержаться только до конца года: потом они устроят себе отпуск и, быть может, отправятся в кругосветное путешествие (они уже несколько раз объехали вокруг света). Только сначала они обязательно поженятся. Она недоумевает: почему он все время откладывает то, что они могут сделать в любой день? Может быть, в Индии у него есть жена и дети? Но она старается об этом не думать.

Потом начинается нечто странное и непонятное. После обеда Кришна уходит, сказав, что пойдет подышать воздухом, а Перл спит, набираясь сил перед передачей на римском телевидении. Вдруг она просыпается от звука голосов, раздающихся у нее в голове. А ведь она не включала крошечный усилитель, и вряд ли Кришна включил свой передатчик. С тревожным беспокойством она слушает, что говорят незнакомая ей женщина и хорошо знакомый мужчина.

Что она сейчас делает? (Голос с американским акцентом.)

Что и всегда. Спит. Никогда не думал, что можно так много спать.

Она, наверное, очень устает от всего этого.

Ну, наверное... А я устаю от нее. Слава богу, ты возвращаешь мне силы.

А зачем ты вообще связался с ней?

Я сам себя часто спрашиваю об этом. Но знаешь, это занимательно. В своем роде.

И прибыльно.

И прибыльно.

Перл не хочет слушать незнакомую ей женщину и хорошо знакомого мужчину. Но голоса все говорят и говорят, раздаваясь у нее в голове. Она не может остановить их. Не может заснуть.

Кришна возвращается, но она не рассказывает ему, что слышала весь этот гнусный разговор.

— Мне кажется,— говорит она,— будто что-то не так в этой штуковине у меня во рту.

— Что ты имеешь в виду?

— Знаешь, я иногда... кое-что слышу.

— Кое-что слышишь?

— Да, обрывки разговоров.

Он насмешливо отмахивается от ее слов, расчесывая перед зеркалом свои длинные лоснящиеся волосы. Как будто любовно причесывает кого-то другого, медленно и томно проводя расческой от макушки до блестящих кончиков волос.

— Чепуха!— говорит он.— Не можешь ты ничего услышать, когда я не включаю передатчик.

Перл только пожимает плечами, покорно с ним соглашаясь. Но временами она опять слышит обрывки разговоров между ним и другими людьми. Узнает, до какой степени он ее презирает, даже ненавидит. Перл не может спать, впадает в истерики, как-то раз даже делает слабую попытку вскрыть себе вены его бритвой. В конце концов Кришна понимает, что в таком состоянии от нее не будет проку ни ему, ни другим, и соглашается, что, пожалуй, пора удалить вживленный электрод. Они едут в Барселону, где опять подвижной и волосатый дантист делает ей укол в руку и еще два — в рот.

— Вот все и кончилось, детка,— говорит Кришна.— Теперь о'кей.

С тех пор, как он начал встречаться с той незнакомой

американкой, в его речи часто проскальзывают американизмы.

7

Но на этом все не кончилось, а лишь началось заново. Вместо устройства, придуманного Кришной, теперь стояла примитивная амальгамная пломба, но Перл снова стала Слышать. Даже когда не хотела, она Слышала: не только разговоры Кришны с той американкой, или Кришны с ее теткой и матерью, или разговоры тети и матери меж собой, но и разговоры множества других людей, совершенно ей безразличных, которые почему-то старались, чтобы она их услышала. Она словно бы ощущала их присутствие: они давили ее, ей становилось трудно дышать.

— Мне на самом деле удалили ту штуковину?

— Конечно, удалили. И теперь каким-то чудом к тебе вернулся твой дар. Что может быть лучше?

— Тишина,— могла бы она ответить. Но ничего не сказала, потому что боялась его потерять. Пока она Слышит, он ни за что не оставит ее.

Теперь голоса терзают ее и днем и ночью, невнятное бормотание постепенно достигает крещендо, будто потревоженный во время зимней спячки пчелиный рой сердито жужжит у нее в голове. И все носятся и носятся по свету эти двое — бледная девушка и ее гибкий, вкрадчивый, как пантера, «менеджер», и все больше и больше людей восхищаются: «Удивительно!», «Непостижимо!», «Чудесно!»

В Токио она отказывается идти на прием, который устраивает один дипломат и его жена и на который приглашены еще несколько дипломатов с женами,— отказывается, хотя Кришна и говорит:

— Ты должна пойти. Прием устраивают ради нас. Неужели ты не понимаешь? Все эти люди придут только ради нас.

Но она стискивает руками голову, свою бедную голову, в которой без конца теперь толкуются назойливые типы, и кричит:

— Я не могу, не могу, не могу! Я хочу покоя! Немного покоя, немного покоя...

Кришна завязывает черный галстук и поправляет носовой платок в нагрудном кармане. Он молчит, но Перл знает, что он злится.

— Мне-то придется пойти,— говорит он.— Все же лучше, чем ничего.

Потом, уже от двери, злобно бросает:

— Ради бога, возьми себя в руки! Ты бы знала, как ты мне надоела!

Они давно уже не спят вместе. Он выходит в фиолетовые сумерки. От него так резко пахнет духами, что дипломат, который устраивает прием, скажет потом, уже в постели, своей жене: «Какой мерзкий тип! И несет от него дешевым одеколоном. Ты не заметила?»

В стгущающихся сумерках Перл лежит на постели, и один за другим прокрадываются к ней в голову голоса. Сперва только голоса англичан и американцев:

О, я так чувствую...

О, я так хочу...

Ну, конечно, я...

Ну, конечно, ты...

Да, если...

Нет, если...

Если бы я...

Если бы...

Если бы...

А потом и другие голоса: французов, немцев, итальянцев, даже японцев. Весь отель гудит у нее в голове. Голова пытается вместить их всех, но она слишком мала. Она вот-вот лопнет.

Перл вскакивает с постели, подходит к окну и тонкой рукой отдергивает штору, чтобы выглянуть на улицу. Фиолетовые сумерки перешли в ночную тьму. Напротив отеля роют фундамент для еще одного, более дорогого отеля-небоскреба. Строители работают под дуговой лампой, которая высвечивает их тщедушные полуголые тела. Из окна они

кажутся очень маленькими, совсем малюсенькими, а их голоса раздаются в ней очень громко, оглушительно громко. Жильцы отеля постоянно жалуются на огромную машину, которая с глухим ритмичным стуком долбит землю, сотрясая все вокруг. Но голоса так шумят, что Перл почти не слышит машины. Вверх-вниз, вверх-вниз движется гигантский молот, вокруг которого копошатся фигурки.

Перл накидывает пальто прямо на ночную рубашку и выходит из комнаты. Выбегает на улицу, бросается на другую сторону. Голоса становятся громче; жилка на виске пульсирует; хрупкое горло ощущает порыв горячего, сухого ветра. Один из тщедушных рабочих, которые вовсе не тщедушны на самом деле, замечает ее и пытается перехватить. Но не успевает — гигантский молот с глухим стуком вдавливает ее голову в землю. Голоса внутри нее замолкают навеки.

Европейцы и американцы потрясены самоубийством Перл, а японцы им втайне восхищаются.

Впрочем, они ведь понимают толк в таких вещах.

Дом из стекла

В кружочке дверного глазка возник девичий профиль — как на старинной, от руки раскрашенной фотографии: прямой нос, плавная линия рта, крутая дуга брови отпечатались неестественно четко, и лишь густые светлые волосы и колесо соломенной шляпы расплылись неясным пятном в сиянии ослепительных солнечных бликов, пляшущих на глянцеви-тых после недавнего ливня листьях сирени. Тома Рут не увидела: должно быть, он стоял на две-три ступеньки ниже. Отодвигая задвижку, она подумала: а хороша! Отчего-то Рут не ждала такого. Яркая и спокойная, красота девушки уязвила ее.

Она распахнула дверь. Зной и сверканье дня обрушились в сумрак прихожей грохочущим медным листом, и Рут чуть

не вскрикнула от внезапной, разительной метаморфозы. Девушка повернула голову вправо, обнаружив полуприкрытую полями огромной шляпы левую половину лица — тошнотворное зрелище коричневатой, сморщенной кожи, спекшихся губ, изуродованной ноздри, лишённого ресниц глаза. Намалеванная карандашом бровь взмывала на лоб, резким росчерком обрываясь к виску.

— Это мы.

Том стоял ниже, как всегда, носками наружу — со стороны эта пингвинья поза выглядела мучительно неудобной; под мышками на желтой тенниске темнели оранжевые круги. Его рука (Рут всегда нравились его грубые, крепкие руки, несмотря на постоянно обкусанные ногти) сжимала хрупкий девичий локоть, большой палец легонько поглаживал нежную, в голубоватых прожилках кожу на сгибе, и она собиралась в мягкие складки.

— Том! Как я рада!— Рут протянула унизанные кольцами руки — кольца на безымянном, кольца на среднем, даже на указательном пальце — и невольно прищурилась от их ослепительного блеска.— Ах, как я рада! Сто лет тебя не видела.

— Это Делия.

— Делия. Давно мечтала с вами познакомиться.

— Но мы с Томом знаем друг друга только шесть... нет, семь недель.

— Только! Обычно он гораздо скорее представляет меня своим подружкам.

Горячая рука Рут, отягощенная золотом и камнями, покоится в легкой, прохладной девичьей ладони. Теперь перед ней оба лика — красота и уродство. (Почему он ничего не сказал ей об этом? Обычно он говорил *все*.)

— Милости прошу.

— Какой огромный дом! Для Лондона, разумеется.— Девушка сняла шляпу с зеленоватым шифоновым шарфом на тулье, рассыпав по плечам свои пышные светлые волосы, неловко дернула плечом, поправляя сползшую лямку. Том

принял шляпу и положил ее на кресло (моррисовское*, прежних времен: синева вьюнков на истертой обивке вылиняла, совсем как джинсы у Тома).— У вас так прохладно. Чудесно.

Голос низкий, с легким придыханием.

— Да, здесь действительно можно дышать. Спасаясь от зноя, как жители Средиземноморья: прямо с утра, едва начнет припекать, опускаю все жалюзи и до самого вечера, пока не станет прохладней, наглухо закрываю окна. Знаете, помогает. Во всяком случае, тут, внизу. Входите же.

Рут царственно важно двинулась по коридору, Том с девушкой последовали за ней. Сверкали черные плитки пола, сияла мебель, всего десять дней назад начищенная до немыслимого блеска ее испанским «сокровищем» (сейчас она в «Сент-Мэри Эбботс»**, может быть, при смерти). И словно когти диковинной птицы, громко цокали высокие каблукы, такие нелепые под расплывшимся телом стареющей женщины с редкими, взбитыми в рыжеватый кок волосами.

— Обожаю эту комнату.— Том обращался не к Рут, а к девушке.— Каждый раз вхожу сюда словно впервые. Столько интересного — мебель, картины, безделушки, книги, и всякий раз смотришь на них совершенно другими глазами. Жаль, что не видно сада.

— Ну, если хотите... Пожалуйста.— Рут улыбнулась — с тем снисходительным выражением, за которое дети окрестили ее «ласковой нянюшкой», — и потянула шнурок жалюзи. За окном цвел сад. Как часто, когда Том еще жил в ее доме, они трудились там рядом, бок о бок; пот ручьями бежал по его костистой спине, вдоль позвонков, и по костлявой ложбинке меж маленькими розовыми сосками, торчащими на обтянутых белой атласной кожей подушечках мускулов. Рут намеренно запустила сад, предоставив свободу вьюнкам и розам, чтобы соседка, бывшая опереточная примадонна — старая ведьма в розовом парике, аккуратных бежевых

* Моррис, Уильям (1834—1896) — английский писатель, художник, декоратор. Пропагандировал особый «средневековый» стиль в интерьере.

** Лондонская больница.

брючках и бежевой вязаной кофте,— не совала свой любопытный нос через невысокий забор, сквозь густое переплетение стеблей и свисающие до земли ветви плакучей ивы.

— Чудная комната, правда? — Том повернулся к девушке.

Та с сомнением огляделась, на мгновение задерживаясь взглядом то в одной, то в другой точке. Но вот прерывистая окружность замкнулась, указательный пальчик потрогал уголок рта — с обезображенной стороны, где от него сохранилась лишь тонкая пепельно-серая полоса.

— Да... — наконец вымолвила она неуверенно.

— Садитесь, пожалуйста. — Рут простерла руки, точно демонстрируя великолепие колец. — Где вам понравится.

— У вас нет любимого места?

Рут рассмеялась.

— Неужели я так похожа на человека, питающего пристрастие к какому-то креслу?

Она стояла около бара. Когда-то это был старинный корейский сундучок, восемнадцатый век, и Рут, отворяя тяжелую от медных шишечек дверцу, испытала привычное чувство стыда. Герман попросил краснодеревщика сделать из сундука бар. Все восхищались его вкусом, а он время от времени оказывался способным и на подобную пошлость.

Девушка вновь описала глазами прерывистую окружность и направилась к викторианскому шезлонгу со спинкой красного дерева, украшенной резной змейкой переплетенных плюща и вьюнка. Опустившись в него, после недолгого колебания беззастенчиво положила на сиденье ногу, затем другую, скрестив свои крохотные ступни. Рут передернуло от раздражения: она испугалась, что туфельки могут испачкать нарядное шелковое полотно; а кроме того, хоть Рут и отвергла факт любимого места, шезлонг нравился ей больше всего, о чем, разумеется, было известно Тому.

— Что вы будете пить?

— А что у вас есть?

Мышьяк, цианистый калий, синильная кислота, про себя подумала Рут, но, конечно же, не сказала этого вслух, а, напротив, принялась одну за другой извлекать бутылки из бара

и читать надписи на этикетках. Когда она перечислила все, Делия протянула своим низким, задыхающимся голосом:

— Пожалуй, я бы *гораздо* охотнее выпила лимонного соку. И чтобы много-много льда.

Том подал бокал. Делия отхлебнула.

— Ну как? Достаточно льда?

— Превосходно.

Не вынимая руки из ведерка со льдом, Рут повернулась к Тому:

— Тебе как обычно?— И, не дожидаясь ответа, разбавила джин прохладительной смесью. Ей незачем было дожидаться ответа: тем летом, когда он жил у нее, Том ни разу не попросил ничего другого.— Увы, я совершенно забыла о фруктовом десерте. Такая растяпа! Только мята да лимон.

— Вот и прекрасно! Зачем нам фрукты? Не будем портить аппетит до обеда.

Рут налила себе хереса и села спиной к окну, положив ногу на ногу, на стул с прямой спинкой.

— У меня идея: можно сходить в индийский ресторанчик. В жару я обожаю карри.

На самом деле Рут терпеть не могла карри, особенно в жаркое время. Но когда Том позвонил ей из Брайтона, сообщить, что получил премию и хочет сводить ее в ресторан, она подумала: что бы там ни было, это, конечно, гроши. Разумней всего будет подбить его на соседний индийский ресторанчик, с фиолетовыми бумажными занавесками, покрытыми густым слоем пыли, скатертями в оранжевых пятнах, следах от бесчисленных трапез, и провонявшей аммиаком уборной в конце испещренного каракулями коридора.

— Ради Христа, только не в этот свинарник. Я заказал столик совсем в другом месте.

— В другом? Где?

— Потерпи, увидишь. Это сюрприз. Держу пари, ты бывала там раньше. Но все равно.— Он улыбнулся Делии.— Знаешь, она бывала везде.

— Сюрприз? Интересно. Надеюсь, это не будет безумно дорого.

— Хочу угостить тебя настоящим обедом. По случаю торжества.

Какого еще торжества?— удивилась Рут. В честь чего? В честь знакомства с этой девицей? Сожительства с ней? Предполагаемой свадьбы?

— Рут столько сделала для меня, когда мне приходилось туго.— Том примостился на краешке шезлонга, положив ноги Делии, скрещенные в щиколотках, себе на колени.— Трудное было время. Верно, Рут?

Рут вспомнила, как он лежал с утра до ночи у себя наверху, молчаливый и неподвижный, не отвечая, когда она тормошила его: «Скажи, что случилось? Ты нездоров? Тебе плохо? В чем дело?»— и только отталкивал прочь тарелки с едой. Она вспомнила все те закусовые, ресторанички, магазинчики дамской одежды, которые он отчего-то бросал, проработав несколько дней; обыкновенно он заявлялся домой тем же утром или к полудню, словно хозяин, у которого он служил, не мог ни секундой больше терпеть его у себя или сам он не мог выносить никого, кроме Рут. Она вспомнила, сколько раз ему было нечем заплатить ей за комнату («Забудь, не думай об этом!») и тот чудовищный беспорядок, что он оставлял после себя на кухне, в ванной и даже в гостиной, где он просиживал часами, откинувшись в этом шезлонге,— губы сжаты, взгляд светло-серых глаз безразлично уставлен на экран телевизора.

— Да, пожалуй. Трудное время.

— И ты была так добра ко мне.— Обернувшись к Делии:— Она была ужасно добра ко мне. Ты не поверишь. Никакая хозяйка не относится так к своим квартирантам.

— Я никогда не считала тебя квартирантом.

Ее ближайшие друзья подозревали любовную связь. Иначе чего бы ей нянчиться с ним? Конечно, она одинока, говорили они друг другу, и даже живопись не избавит ее от тоски. Муж скончался, дети уехали за границу, она одна-одинешенька в этом огромном и странном доме, среди обступивших его густых деревьев.

— Мне хочется отблагодарить тебя за доброту. Ты, конеч-

но, достойна гораздо большего, но — чем могу.

Девушка пригубила бокал и подняла глаза.

— Люди никогда не бывают добры просто так, без причины. Разве я не права?— Она взглянула на Тома, потом на Рут.

Дрянь, подумала Рут. На что она намекает? Наверное, на то же, на что частенько намекала ее сестра Мариетта, недавно — уже в третий раз — вышедшая замуж за фермера из Техаса. Рут запомнился день, когда Том вошел в полумрак этой комнаты из солнечного сверкания сада и мрачно объявил: «Не могу больше дергать чертовы сорняки. Там настоящее пекло». Рут милостиво улыбнулась и, оглядев его обнаженный торс, проговорила: «Конечно, мой дорогой. Ты не обязан. Сколько хочешь, столько и делай. Или вообще ничего». Он повернулся и вышел. Мариетта нагнулась, зажав руки между коленями, и проводила его глазами. Ее выпяченная нижняя губа поблескивала от слюны. «О!— воскликнула она.— Каков, а? Рай земной».

Давно сестры не вспоминали свою излюбленную присказку. Рай земной. Значит, и Мариетта почуяла его обаяние и поняла, что должна испытывать Рут.

«Кожа да кости»,— негодуяще бросила Рут, но Мариетта лишь рассмеялась, откинув голову и стиснув ладони коленями, словно девчонка, которая боится обмочиться. «Ну-ну,— усмехнулась она.— Не прикидывайся. Завидую!»

А девушка продолжала расспрашивать:

— Вы живете одна в этом огромном доме?

Рут кивнула:

— Да. Со служанкой. С моим испанским «сокровищем». Сейчас она нездорова. Лежит в больнице. Иногда мне становится стыдно за свой эгоизм,— добавила она, недоумевая, почему это нужно оправдываться перед совершенно чужим человеком.— После Тома у меня жил другой квартирант. Но с ним все было совсем иначе. Мы не нашли общего языка.

— А с Томом нашли. Я же вижу!— Девушка засмеялась.— Сколько здесь комнат?

— Право, не знаю. Не имею представления. Никогда не считала.

Глупейший ответ. Конечно же, она знала. Но не желала потворствовать такому вынюхиванию, равно как и подглядыванию особы в розовом парике — соседки за низким заборчиком.

— Чудо, как здесь прохладно.

— Правда? Внизу тут всегда свежо. Зато наверху!.. В такую жару, как сейчас, сущий ад. А уж зимой... Вы даже представить не можете, во что мне обходятся калориферы.

Большой палец Тома начал нежно поглаживать кожу на девичьей ножке, как тогда на крыльце — впадинку на руке.

— Надо было давно отказаться от калориферов. Бессмысленное расточительство.

— Конечно, я знаю. Еще один просчет Германа.— Рут обернулась к Делии:— Герман — мой покойный супруг.

— Знаменитый архитектор,— вставил Том.

— Слишком много просчетов для такой знаменитости. Об этом доме написано в стольких книгах. Идеальнейшее устройство для жизни! А ведь, в сущности, он не пригоден для этого.

— Красивый дом,— заметила девушка.— Красивый, хотя и странный.

— Да. Красивый. Но в такие дни, как сегодня, в студии невозможно работать.

— Почему?

— Почему? (Боже, как же она глупа!) Да потому, что она занимает весь верхний этаж и там чудовищно жарко. Просто изжариться можно. Кругом стекло. Прежде дом называли «Грасс-хаус» — по фамилии мужа, Грасс, но теперь он известен как «Гласс-хаус». Дом из стекла.— Рут нахмурилась.— Ни на жару, ни на холод. Непрактично.

— А уж как непрактично, если вам вздумается бросать в него камни. Хотя, полагаю, вы никогда не бросаете их.— Делия вновь отхлебнула.

Рут ощутила — неожиданно, необъяснимо — ее ненависть, как когда-то, в этой же комнате, так же внезапно и

необъяснимо догадалась о неверности Германа.

— Я частенько подумываю, не продать ли мне дом,— со- слгала она. Она никогда не собиралась продавать его, не- смотря на все уговоры детей, приятелей и Мариетты.— Только кто купит? Разве какой-нибудь араб.

— Ваш муж был эмигрантом?

— Да.

— Из Германии?

— Нет. Из Нидерландов.

— Еврей?

— Да. А что?

— Я так и думала.

— А где вы встретились с Томом?

Рут все было прекрасно известно, Том писал ей, как встре- тил девицу: она работала в винном баре, напротив антиквар- ного магазинчика, где служил он; однако из чувства мести Рут все же решила спросить. Пусть потаскушка сама поведает эту историю.

— Том ведь вам рассказал. Разве нет, Том?

— Я... Мне кажется, да.

— Вот видите.— Делия усмехнулась и поднесла к губам бокал.— Вы рисуете,— утвердительно сказала она.

— Да, я рисую. Живопись помогает убить время. У меня теперь его слишком много,— ответила Рут, презирая себя за то, что не смеет сказать: «Да, я пишу. Я чертовски здорово пишу. Может, ты и не слышала про меня, но другие, пообра- зованней, знают».

Девушка отвернулась к окну, вновь поставив Рут перед выбором — отвести глаза или взглянуть на ссохшуюся, по- черневшую мякоть щеки, на ужасающее уродство глаза, носа и рта.

— Однажды я видела ваши работы. Правда, не помню где. В общем-то мне понравилось.

— Спасибо.— Рут посмотрела на Тома.— Ты заказал сто- лик?

— Конечно.— Он улыбнулся.— В таких ресторанах при- ходится беспокоиться загодя.

— Все-таки я надеюсь, это не будет дорого.

— Что вы волнуетесь?— Теперь Делия повернулась к Рут другим своим ликом, напоминавшим романтических красоток Дю Морье* из журнала «Панч».— Он же будет платить.

— Знаю,— отрезала Рут.— Но я не желаю, чтобы он тратился. Не выношу, когда транжирят деньги на еду.

— Какая разница, на что их транжирят? Чем лучше, к примеру, тратиться на калориферы?— Девушка рывком сбросила ноги с коленей Тома и объявила:— Хочу взглянуть на картину.

— Какую картину?

— Портрет Тома. Он говорил, вы написали с него портрет.

— А, действительно, я начала. Но не закончила. Не успела. Том уехал в Брайтон. Я работаю медленно.

Часами он неподвижно сидел у окна, позируя для нее. Они почти не разговаривали друг с другом. («Устала?»— «Да нет. А ты?»— «Не очень. Выпьем?»— «Попозже».— «Как называется эта краска?»— «Жженая охра».— «Понятно».) Но когда она набирала краски на кисть, смотрела на Тома, смотрела на холст, поправляла штрих или клала мазок, то ощущала невероятную, нерасторжимую близость. Никогда они не были так близки, как тогда, и никогда уже, верно, не будут.

— Можно мне посмотреть?

— О, я не думаю, что это будет...

— Пожалуйста, покажи,— попросил ее Том.— Покажи его ей.

— Хорошо.

Рут поднялась, чувствуя себя разбитой и раздраженной и страстно желая, чтобы скорее прошел этот вечер.

— Он наверху,— сказала она. И вздохнула:— Так далеко!

Том вскочил:

— Я принесу.

— Ты не найдешь. Ты не знаешь, где искать.

— Чепуха, найду.

* Дю Морье, Жорж Луи Палмелла Бюссон (1834—1896)— английский писатель и художник, иллюстрировавший популярный журнал «Панч».

— Он стоит под окном.

— Да знаю я, знаю.

Том вышел. Делия приподнялась в шезлонге и обхватила колени руками.

— Он все еще очень привязан к вам.

— Как мило!— сухо ответила Рут.— А я все еще привязана к нему.

— Он часто говорит о вас.

— А я часто думаю о нем. Как ему живется теперь? Счастливей, чем прежде?

Делия кивнула, точно желая сказать: «Со мной? Ну конечно!»

Рут встала и вышла в холл; немисливо вытерпеть эту сдерживаемую враждебность наедине, без Тома — хоть и слабого, но прикрытия. Однако девица тенью пошла за ней, с мягким чмокающим звуком ступая туфельками без каблучков по сверкающим плиткам пола.

— Нашел?— крикнула Рут.

— Ага.— Том кубарем скатился по лестнице, даже перила затряслись у Рут под рукой. И все вокруг, вдруг почудилось ей, затряслось, как от подземных толчков. Точно высокий, огромный дом вот-вот рассыплется, рухнет на них.

— Держи.— Том протянул ей портрет.

Рут взяла его и поставила на кресло с синими вьюнками. Наклонив голову набок, сказала:

— Лучше смотреть на него отсюда. Здесь свет падает сверху.

Девушка рассматривала картину — портрет своего возлюбленного, прежде — возлюбленного Рут. А обнаженный до пояса юноша смотрел на них из овала застывших глянцевитых листьев отрешенно-рассеянным взглядом.

— Я видела его таким,— сказала она наконец.— Но не часто.

— Портрет не закончен,— ответила Рут.

— Когда-нибудь закончите.

Рут пожала плечами и, взявшись за угол подрамника, отвернула портрет.

— Это зависит от Тома. Мне давно хотелось закончить.

— А мне он нравится и таким,— сказал Том.

Делия смотрела в сторону, будто утратив к картине всякий интерес.

— Вы ведь не часто пишете людей, да?

— Да. Не часто.

Рут, оставив портрет на кресле, вернулась в комнату; Том с девушкой рука об руку пошли за ней.

— Ваш муж был знаком с Томом?

Девушка стояла около Рут, наполнявшей ее бокал соком,— слишком близко, угрожающе близко.

— Помилуйте, что вы! Его не стало задолго до того, как в моей жизни появился Том.

— Благодарю.— Девушка взяла бокал.— Интересно, что бы он подумал про Тома?

— Думаю, Том понравился бы ему. Он редко кого не любил.

Делия сделала глоток.

— А ведь Тома есть за что полюбить.

— Да, есть за что,— повторила Рут.

Делия принялась бродить по комнате с видом праздного зеваки на распродаже, рассматривая вещи — бесценные произведения искусства и грошовые безделушки. Том улыбнулся и вопросительно поднял брови: «Ну как?» Рут отвернулась.

— Кто помогает тебе ухаживать за садом? Я имею в виду вместо меня.

— Никто. Я справляюсь сама.

— Выходит, я не так уж незаменим.

Жестокий. Такой же жестокий, как эта девчонка, хотя Рут понимала, что в отличие от нее он не желал сделать ей больно.

Девушка вдруг прекратила бродить и спросила — не у Рут, а у Тома:

— Где туалетная комната?

— Идем, покажу.

Том проводил ее и вернулся, плотно прикрыв за собой дверь.

— Что скажешь?

Похоже на вызов.

— Она...— Рут запнулась.— Она понравилась мне.

(Что еще оставалось сказать?)

— Все так изменилось, когда я встретил ее. До того... я просто не знал, как мне выдержать в этой лавке, в этом Брайтоне. Частичка моей души рвалась обратно, к тебе.

— Что у нее с лицом?— не удержалась Рут.

— Ужасно.— Он взглянул на застывшие, глянцевиые листья — те самые, что окружали его на портрете.— Несчастье. Еще в детстве она упала в огонь.

— Упала?

— Возможно, кто-то ее толкнул. Никто ничего не знает. А она не говорит. Я попытался ее расспросить, но...— Он пожал плечами.

— Как страшно!

Том кивнул.

— Но она прекрасна, несмотря на все это. А может, именно потому. Так мне кажется иногда.— Он с подозрением покосился на Рут.— Ты не согласна?

Рут склонила голову.

— Да. Она красива.

В холле послышались шаги, и они отпрянули в стороны, словно устыдившись преступной близости у окна. Но девушка так и не появилась. (Наверное, подслушивает под дверь, стараясь разведать, что́ нам нужно сказать друг другу, или — почему бы и нет? — что́ мы значили и что́ мы значим еще друг для друга.) Том провел языком по губам, точно пробуя, с возрастающим страхом, что-то едкое, горькое. Ядовито — не ядовито?

— Том, дорогой,— набралась храбрости Рут.— Почему ты так долго не приезжал ко мне?

— Я не мог. Как ты не понимаешь?

Нет, она не понимала. Она не могла допустить даже мысли, что понимает.

Вошла девушка, с наигранной скромностью опустив глаза в пол.

— Какая чудная туалетная комната!— Делия благоухала французскими духами, которые Рут, торопясь перед их приходом привести себя после ванны в порядок, забыла убрать с туалетного столика в спальне. (Она рыскала по дому!)

— О да. Муж купил этот прелестный старинный умывальник и подставку из красного дерева у подрядчика за каких-то пять фунтов. Прежде он стоял в соседнем доме, ниже по улице,— его как раз тогда перестраивали. Он куда удобнее нынешних, хотя воды берет раза в три больше.

— Теперь я понимаю, что вы говорили о жаре наверху.

— Я же сказала, это из-за стекла.

Девушка взглянула на Тома:

— Нам не пора? Смотри, мы прозеваем свой столик.

— Прошу вас, пойдемте в индийский ресторан. Прекрасное место. Не нужно ничего шикарного.

— Для тебя — только самое лучшее,— ответил Том.

— Для вас — только самое лучшее,— с ядовитым сарказмом поддакнула девушка.

Расплачиваясь за такси, Том ухитрился рассыпать мелочь: пятипенсовики, монетки в два пенни, пенни, полпенни, которые он извлек из кармана, брызнули на тротуар, часть откатилась на мостовую. Девушка с легкой усмешкой наблюдала, как ползают, подбирая их, Том и Рут. Затем проронила:

— Зачем себя так утруждать? В наше время это просто гроши.

Рут выпрямилась.

— Нет, ты не поведешь нас туда. Один из самых дорогих лондонских ресторанов!

— Именно потому я и выбрал его.

Том стоял с пригоршней монет, и Рут, ссыпая ему в ладонь те, что подобрала с дороги, едва не спросила: «А чем ты намерен платить? Не этими жалкими кружочками, ко-

торые у тебя в руке?» Милый Том! Душераздирающая, но идиотическая сцена. Совсем как в тот день, когда он, получив пособие по безработице, побежал купить ей бутылку грушовки, потому что она обмолвилась невзначай, что любит ее больше бренди. Рут предприняла последнюю попытку:

— Том, давай пойдем в другое место. Тут рядом есть пиццерия.

(Омерзительная дыра. Ее собственный сын, порядочный скряга, однажды, приехав в отпуск из Кении, водил ее туда.)

— Я не желаю вести тебя в пиццерию. Не говори глупостей, Рут!

— Да, сэр?

Официант с лоснящимися волосами и причудливыми манерами — скорее всего какой-нибудь итальянский, греческий или испанский крестьянин — вложил в эти два слова всю отпущенную ему природой иронию и надменность. Уже много лет Рут не бывала в ресторане со спутником, которого бы приветствовали в подобном тоне. Она словно вернулась на миг в довоенные времена, когда Герман, в ту пору нищий, оборванный беженец из Нидерландов, водил ее (деньги она вручала ему заранее) в «Кафе Ройял» или «Критерион Грилл»*.

Том вспыхнул.

— Я... я заказал столик, — промямлил он.

— Да, сэр? — Опять затаенная издевка. — Ваше имя, сэр?

И тут произошло удивительное. Из дальнего угла зала, выкрашенного в цвет *sang de bœuf*** и увешанного спортивными фото в безвкусных позолоченных рамках, к ним, воздев пухлые ручки, бежал метрдотель. Да, несомненно, это был метрдотель, в синем форменном пиджаке с золотыми пуговицами и широких кремовых брюках. Рут подумала было, что он узнал ее, Рут, хотя не могла понять почему. Но она ошибалась. Метрдотель спешил к девушке.

— Синьорина Делия! — вскричал он высоким фальцетом.

* Фешенебельные лондонские рестораны.

** бычья кровь (франц.).

Выговор у него был итальянский.— Как давно вас не было видно!

— Привет, Лауро.— Тон покровительственно-холодный.

— Сюда, сюда! Здесь вам будет удобно. Да. И прохладно. Рядом с садом. Прошу!

Он отодвинул высокий раззолоченный стул (для Делии, а не для Рут) и окликнул второго, в таком же форменном пиджаке и брюках, только потолще и старше, с сединой в волосах:

— Эй, Джованни! Посмотри, кто пришел!

— Синьорина Делия!— заторопился Джованни.— Ваш отец, сэр Генри, кушал у нас только вчера. Давненько, давненько!

Он протянул руку, и девушка пожала ее с тем же снисходительным высокомерием.

— Где это вы пропадали?— спросил тот, что помоложе.

— В Брайтоне. Я устроилась там на работу.

— О, Брайтон! Прекрасно!— Он схватил салфетку, развернул ее и подал девушке.— У нас сегодня ваше любимое блюдо. Форель.

— Отлично, Лауро!

Когда итальянцы ушли, Рут заметила:

— А вас здесь, выходит, знают.

— Да, я часто бываю тут вместе с отцом. Он работает совсем рядом. Ну, почти рядом.

Рут подмывало спросить: «А кто ваш отец? Чем он занимается?»— но она сдержала себя.

Том облокотился на стол и с гордостью улыбнулся:

— Тут все ее знают. Это ее идея — пригласить тебя сюда.

— Ах, вот как!

— Ты же знаешь, я ничего не смыслю в ресторанах. Во всяком случае, такого класса. Не мой жанр.

Подошел официант и подал Рут преysкурant вин.

Она передвинула его Тому:

— Пусть выбирает мужчина.

— О боже! Делия, выбирай ты!

— Хорошо.— Она с безразличным видом взяла листок и

скользнула по нему глазами.— Поскольку я заказала форель, а вам подадут цыплят, то что вы скажете о «шабли»?

— Превосходно. Рут, как ты?

— Да, замечательно.

Делия улыбнулась официанту.

— Двенадцатый номер,— уточнила она.— Но вино следует охладить.

— Конечно, мадам. Охладим. Не беспокойтесь.

Словно триумф невероятного, удивительного поклонения убогаторил бесновавшегося в ее душе демона, Делия вдруг превратилась в очаровательного собеседника — просто сама любезность.

— Интересно, что сказал бы ваш муж о здешнем убранстве. Прелестный образчик кошмарного вкуса. Но кормят отменно.

— Да. Мне доводилось бывать тут. Правда, очень давно. Теперь я редко выбираюсь в город.

Над салатом из авокадо:

— Я очень надеюсь, вы допишете этот портрет.

Над форелью — изящно, двумя пальчиками, извлекая рыбью косточку:

— Я в восторге от вашего дома. Сказочный дом, что бы вы ни говорили.

Над *mousse au chocolat**:

— Все так занятно!..

Том сиял улыбкой. В итоге получалось прекрасно. Как хотелось ему, а не так, как могло бы случиться.

Рут задумалась: наверное, это естественно — едва сдерживаемая враждебность вначале. Разве могло быть иначе? Конечно, девушка — впрочем, как и другие,— убедила себя, что прошлым летом Том был пленником Стеклянного дома, а она — тюремщиком, а не сиделкой.

Счет официант положил перед Рут.

— Нет!— закричал Том, придвигая тарелочку к себе. Рут еще пыталась спорить:

* шоколадный мусс (франц.).

— Пожалуйста, Том! Позволь мне.

Заглянув в счет, он изумленно раскрыл глаза и побледнел.

— Том, я же знаю, там огромная сумма. Разреши заплатить хоть половину.

— Ни за что.— Он вытащил из заднего кармана джинсов кредитную карточку. Когда он жил у нее, карточки у него, разумеется, не было.— Пока хватит и этого. А наличные потребуются месяца через полтора, не раньше.

— Я хочу...

— Нет!

На улице он спросил:

— Поймать такси? Мы не сможем тебя проводить: нам нужно успеть на поезд до Брайтона. Извини.

— Том, полагаю, нам самим пора ловить такси,— промурлыкала Делия, беря его под руку.— Иначе поезд уйдет без нас.

Когда Том, пошатываясь, выскочил на дорогу, чтобы остановить машину, Рут подумала: он, должно быть, изрядно набрался — выпить почти все «шабли» и добавить бренди! Обычно Том пьянел от одной рюмки.

— Иди!— позвал он Рут.

— Садитесь вы. Мне хочется подышать свежим воздухом. Пройдусь немного.

— Правда?

— Правда. Торопитесь.

Он нетвердой походкой вернулся к ней, оставив Делию у машины.

— До свидания, Рут. Надеюсь, тебе было хорошо сегодня. Хотя бы вполчину так хорошо, как мне.

— Так же, как тебе, Том.

Он обнял ее за плечи, обдав тяжелым потным духом, и прижался губами к щеке.

— Том, милый!

Девушка помахала ему и занесла ножку, словно намереваясь забраться в машину. Но когда Том подбежал к ней, опустила ее и направилась к Рут.

— Я рада, что познакомилась с вами. Признаться, я опа-

салась, что мы не поладим. Но все было чудесно, просто чудесно. От начала и до конца.

(Она что, тоже пьяна? — мелькнуло у Рут.)

И вдруг девушка обвинила ее шею, шею стареющей женщины, и прижалась обезображенной щекой к ее щеке. Рут невольно задержала дыхание — и опять уловила аромат французских духов. Сделав усилие, она поцеловала коричневатую, сморщенную кожу.

— Встретимся снова, — сказала она.

— Непременно!

Девушка побежала к такси, где ждал ее Том.

— Смотрите, осторожней! — махнула она на прощание.

— Я не боюсь грабителей. Я брожу по ночам где хочу, — начала было Рут, но они уже скрылись в машине.

После ночной прохлады улиц жара в спальне под самой крышей Стеклянного дома показалась ей нестерпимой. Милый, милый Том, подумала Рут. Все, конец. Торжество, как назвал его он, обернулось поминками. Может быть, она никогда не увидит его одного, без девчонки, а может, даже с ней он будет приезжать все реже и реже. Вероятно — Рут приняла этот факт со стоическим мужеством (как некогда Герман — свою неотвратимую смерть), — она уже вообще никогда не увидит его. А все же, хоть по-своему, Том сумел выдержать тон, как и Герман, покидая навеки ее, Стеклянный дом и весь мир. Тон — вот что всегда восхищало ее в других. Она не знала, что Том способен на это.

Рут сбросила простыню. Зной накатывал удушливыми волнами. Такой жары по ночам не было в августе много лет. Ей удалось задремать; потом она долго лежала в полузабытьи; потом, вся в липкой испарине, окончательно проснулась. Да, они правы — ее дети и ее друзья: ей нужно уехать из Стеклянного дома, найти себе что-то поменьше и попрacticalней. Устройство для жизни, устройство для смерти. Один закоченел зимой, другая изжарилась летом. Она снова провалилась в полузабытье и снова проснулась — с бешено бьющимся сердцем, от необъяснимого ужаса: сброшенная

простыня обвила ее тело, связав по рукам и ногам кошмарными путами. Рут взяла со столика стакан с водой, который всегда ставила у изголовья, и жадно глотнула. Тепловатая, мерзкая жидкость, будто из застоявшегося пруда. Отвратительно. Она ощутила, как капельки пота ползут между грудей, и перед глазами всплыл темно-зеленый, под расплавленным небом, сад — и стекающие по костистой спине, по впадинке на груди бредущего мимо Тома потные ручейки. Рай земной, ад кромешный.

В начале шестого она сползла с постели и решила спуститься вниз, по чудесной винтовой лестнице, образовывавшей стержень дома, в комнату, выходящую в сад. Там должно быть прохладнее. Но с каждой ступенькой удушливая, одуряющая жара становилась все яростней, точно она спускалась в самое жерло вулкана. Дурацкий дом, дурацкая затея Германа. *Откуда* эта жара в такой час?

В развевающейся рубашке она брела через холл, когда вдруг почувствовала на обнаженной ноге обжигающую струю раскаленного воздуха и догадалась, что включен калорифер, — и не просто включен, а на полную мощность, на деление 5, как никогда, даже глубокой зимой. Рут, наклонившись, щелкнула рычажком и с тоской подумала: что толку? Он будет держать тепло целый день. В растерянности она застыла у батареи, пытаясь найти объяснение.

Рут тяжело поднялась по ступеням и прислонила ладонь к калориферу на втором этаже. Он тоже пылал. Она отдернула руку и потеряла обожженные пальцы. То же самое в ванной. И на следующем этаже. И в спальне.

Тут она вспомнила, как долго не появлялась из туалетной комнаты Делия и как повеяло ароматом французских духов, когда она наконец возвратилась — и позже, вечером, когда та прижалась к ее щеке изуродованным лицом.

Рут содрогнулась от злобной низости всего этого, но как ни странно, почувствовала удовлетворение. Теперь у нее были все основания ненавидеть девчонку. С самого начала она жаждала ненавидеть, но стыдилась своего чувства. Изжарься, изжарься, сгори. Сгори в аду, который сотворил

для тебя твой супруг-архитектор, как сгорали в газовых печах его родные. Вот чего она добивалась.

Рут снова спустилась вниз, в пекло вулкана, в накаленный девицей ад; прошла в гостиную, распахнула стеклянные двери в сад. И со сладостным облегчением ощутила на пылающем лбу, на груди, на голых руках, на теле под прилипшей ночной рубашкой предрассветный холодок. Упоительно. Придется ей провести в саду целый день, в тени деревьев, пока не остынут кирпичи этих чертовых калориферов. Она устроилась в гамаке, сложив руки на коленях, и постепенно лихорадка ярости и страха сменилась ознобом отчаяния. Том для нее потерян. Безвозвратно. В утреннем сумраке листья, нависшие над головой, тяжело сверкали металлическим блеском. Они грозили ее раздавить. Протяни руку, отведи ветку — и она с лязгом ударится о соседнюю.

Прошло много времени; зачирикали, защебетали — все громче и громче — птицы, и рыжий огромный кот, любимец соседки в розовом парике, крадучись перепрыгнул через забор, сверкая горящими хищным азартом погони топазовыми глазами, когда Рут наконец поднялась и направилась в дом налить себе молока. Со стаканом в руке она вышла из кухни в холл, и тут ее словно пронзило: чего-то недостает. Чего-то. Чего?

Она осмотрелась. Все вещи — бесценные произведения искусства и грошовой безделушки — были на месте. И все же чего-то, чего-то нет среди них. *Думай. Думай.*

Она оцепенело уставилась на выцветшие вьюнки моррисовского кресла, чувствуя голыми ногами накатывающий одуряющими волнами жар батарей. И вдруг ее осенило. *Да вот же!* Нет портрета, *его* портрета! Неужели девица стащила его? Он был на кресле. Теперь его нет. Неужели? Но как, как?

Она перерыла все комнаты на всех этажах, даже спустилась в погреб. Искала, пока, обливаясь потом, не обессилела от изнурительной слабости.

Но тут она заметила портрет. В холле, за батареей.

Рут осторожно вытащила его. Он так накалился, что было

больно держать. Холст покоробился, краска сохлась и вспучилась, цвета пестрили оранжево-коричневым. Картину невозможно было узнать. И только с той стороны, где она не касалась пылающей батареи, еще уцелели глаз, нос, округлость щеки и легкий изгиб губы — во всей их былой красоте.

Старая дама, проходившая мимо

В Англии гниль, съедавшая подоконник, который рассыпался в труху, когда Роз ковыряла его ногтем указательного пальца, была не такой, как на ее острове в Карибском море; там совсем по-другому гнили задушенные более сильными собратьями растения, разъедаемая дождями и мириадами паразитов древесина, падаль распухала, а потом подергивалась яркой пеленой тления, переливавшейся всеми цветами радуги. Та крыса, ее никогда не забыть: отец подложил приманку с ядом, и через несколько дней Роз наткнулась за керосинкой на разложившийся крысиный труп — горстка острых иголочек-зубов цвета слоновой кости да шкурка, шевелившаяся от несметного множества кишаших под ней личинок мух.

Стоя у английской раковины, Роз отковыривала английскую гниль, пока не пришло время надеть пальто, шляпку, перчатки, спуститься по длинной-длинной лестнице (лифт снова не работает) и отправиться в детский сад за Кевином. Утром она тщательно пригладила ему волосы щеткой, одела во все чистое и выглаженное, а теперь, растрепанный и неопрятный, он, как всегда, стоит, вцепившись в проволочную ограду, и смотрит своими карими жалостными глазами, ждет, когда мать окликнет его. Другие дети толпились на бетонной площадке перед детским садом; Кевин никогда не выходил туда, точно боялся, что если не спрячется за оградой, то придет кто-то чужой и заберет его. Но разве он кому нужен? Его отца давно и след протыл: он сбежал

с той девицей. Роз предложила ей пожить после больницы в их муниципальной квартире — бедняжке совсем некуда было податься (свежие шрамы еще краснели у нее на запястьях, а голова ушла в плечи, словно от страха перед кулаками очередного мерзавца). Отец Кевина вряд ли вернется за сыном: зачем ему эта обуза? По словам одного его дружка, он снова в тюрьме, другой уверял, что уехал в Кингстон. Девица — это оба знали наверное — умерла. Но при мысли о ее смерти Роз не испытывала мстительного чувства торжества, а только бесконечную тоску. У бедняги, как у той крысы, были странно заостренные мелкие зубы цвета пожелтевшей слоновой кости, и живот ее, тоже как шкурка той крысы, вздрагивал под толчками чужой жизни, тянувшей из нее все соки. Это был ребенок, его ребенок, которого она, опять же по словам тех дружков, «потеряла», как теряла и все свои вещи: помятые чемоданы и бумажные мешки оставались навсегда в камерах хранения, пальто она забывала в пивных, а браслеты, которые носила на руках и ногах, каким-то непостижимым образом соскальзывали и безвозвратно исчезали, — как противно они позвякивали, когда девица расхаживала по квартире, и все внутри Роз тоже начинало дрожать и звенеть.

Роз подошла к окну и посмотрела вдаль, за перила балкона, протянувшегося, как галерея, вдоль всего этажа. Она никогда не смотрела вниз, туда, где дети постарше Кевина сломали деревца, недавно посаженные величественной женой мэра, измалевали стены гаражей и превратили газон в грязное месиво. Да и зачем туда смотреть, когда стоит поднять голову и увидишь небо с его вечной игрой света — оно то разгорается, озаряясь ослепительным сиянием, то меркнет, тихо угасая. Роз любила смотреть, как кружатся большие снежинки, словно пух из перины, плавно опускаются вниз, пролетая мимо ржавых перил; как ветер подхватывает скворцов и сухие листья и мчит их и кружит спиралью; как летит самолет, оставляя за собой легкий шлейф в ледяной синеве. Другие жильцы, занимавшие квартиры на верхнем этаже, были недовольны, а Роз нра-

вилось, что она так высоко над землей. Когда-то давно ей часто хотелось, чтобы лачуга из досок и рифленого железа, в которой прошли ее детство и юность, поднялась высоко-высоко над мглистым, смрадным болотом, где она стояла на шатких сваях.

Мимо окна по балкону прошла старуха, сгорбленная, как столетняя крестьянка; ее голову и сутулые плечи скрывала коричневая шаль, спускавшаяся до пояса. Несколько раз Роз видела мельком лицо старухи; оно было смуглое, с таким же, как шаль, оттенком, с гладкими высокими скулами и причудливыми складками вокруг ввалившегося рта, на висках у слезящихся глаз и на лбу, между едва заметных бровей, точно кожу в этих местах стянули хирургической иглой. Старуха, как обычно, прошла, не взглянув на Роз. Она ковыляла, переваливаясь, как краб, сторонясь перил, вечно меняющегося неба в вышине и неизменного хаоса на земле, будто боялась, что ее, такую легкую, подхватит ветер, закружит, как листья и скворцов, понесет все выше и выше, а потом швырнет о землю. Каждый день в одно и то же время она шла к мусорным бакам, нагроможденным в грузовом лифте, и каждый раз несла коричневый бумажный пакет с мусором. Дряхлой старухе было явно не по силам мусорное ведро, даже самое маленькое; свой пакет она неизменно высыпала в мусорный бак Роз с намалеванным на нем номером «89»; потом, встряхнув, сворачивала его и уносила под мышкой, будто сокровище. Роз пыталась было заговорить со старухой, но ее не удостоивали ответом, даже не замечали, и в конце концов она махнула рукой. Старуху звали миссис Симмонс — вот все, что Роз о ней знала. Миссис Симмонс навещал — правда, не чаще раза в неделю — высокий сутулый мужчина с седеющими волосами, волной спадавшими на лоб, и неестественно ровными блестящими зубами. Иногда он приходил не один; тот, другой, помоложе, был коренастым человеком со сломанным носом и мешками под глазами; дожидаясь, когда откроют дверь, он обычно пританцовывал на носках, как боксер, разминающийся перед поединком.

Роз стояла и смотрела на миссис Симмонс. Квартира была уже убрана, все выстирано, овощи сварены и остывают в холодной воде, остается еще минут десять до того, как она побежит вниз, постукивая каблучками по бетонным ступенькам. Старуха сдвинула крышку с мусорного бака, но не сразу вытряхнула мусор, а принялась что-то там рассматривать. Потом сунула в бак руку и что-то извлекла из него. Роз с досадой подумала, что, должно быть, письмо, которое она получила сегодня утром от своей малограмотной матери и выбросила, не порвав на мелкие клочки. Но, приглядевшись, увидела, что миссис Симмонс выудила из бака воскресное приложение, старое-престарое; Роз попросила его у одного больного из-за рецепта пончиков, их так любил Кевин. (Дело оказалось слишком канительным — в захудалом магазинчике по соседству, где торговал индеец из Уганды со своими многочисленными домочадцами от мала до велика, не нашлось дрожжей, а потом уже Роз так и не собралась испечь эти пончики.) Миссис Симмонс листала пропитанные соусом страницы с налипшими на них, словно мухи, чайниками. Потом спрятала журнал под шаль и зашаркала обратно.

Роз была отзывчива по натуре, всегда готова помочь, хотя чаще всего ее услуги с негодованием отвергались или — в лучшем случае — принимались как должное; и в этот раз она открыла окно и сказала:

— У меня много таких журналов. Мне их отдают пациенты в больнице. Если хотите...

Старуха медленно обернулась, выпрямилась, шаль сползла с ее головы, открыв редкие седые волосы, по-мальчишески коротко подстриженные; она посмотрела на Роз зоркими, удивительно голубыми глазами в обрамлении причудливых морщин на смуглом лице. Потом сказала хрипловатым, гортанным голосом с заметным акцентом:

— Благодарю вас. Мне нужен именно этот журнал. В нем есть... кое-что.

Старуха юркнула к себе в квартиру, словно ночной зверек, спасаясь от яркого света, заливавшего балкон, в неизмен-

ный полумрак своей норы, но Роз не сразу отошла от окна. Интересно, что старуха нашла в этом журнале? Рецепт пончиков? Гороскоп? Рекламу кастрюль с антипригарным покрытием? (Роз и та заполнила бланк и отправила по почте чек.) Статью об Элтоне Джоне? (Когда по радио передавали его записи, Кевин подсаживался к приемнику и слушал, весело болтая ногами и заливаясь радостным смехом; транзисторный приемник стоял на тумбочке рядом с горбатой кроватью, на которой мать и сын спали на общих простынях, в смешении запахов и снов.) Не хочет со мной знаться. Ну и пусть, подумала Роз. Все из-за того, что я цветная. С ней бывали приветливы только пациенты в больнице, которым она разносила лекарства, подкладывала судно в постель и давала пить по ночам. Роз привыкла к этому, хотя теперь, когда Рег уже не вваливался домой вместе с шумной компанией приятелей-лоботрясов, она особенно остро чувствовала, как она одинока, и в то же время гордилась этим. Мне одной лучше, отрезала Роз, когда суетливый служащий из патронажа попытался пожалеть ее. Да я и не одна. У меня же есть Кевин.

Да, Кевин был ее утешением; она твердо решила дать ему «приличное» воспитание, и потому ботинки его были всегда начищены, смоченные водой волосы тщательно приглажены, одежда аккуратно выстирана, отутюжена и заштопана. Роз не разрешала ему играть с соседскими детьми, ни с цветными, ни с белыми, и старалась не отпускать его от себя ни на шаг. Она водила сына в институт Содружества* и в Музей Виктории и Альберта**; заставляла смотреть познавательные передачи о путешествиях и природе; по вечерам в воскресенье включала радио и уговаривала Кевина послушать программу «Сто лучших мелодий», правда, он ерзал на стуле и явно скучал. Уходя на ночные дежурства, Роз оставляла сына не с соседкой, а с приходящей няней,

* Открыт в 1962 г., ставит своей целью популяризацию Британского Содружества, организует конференции, выставки, лекции и т. п.

** Национальный музей изящных и прикладных искусств всех стран и эпох; назван в честь королевы Виктории и ее супруга.

миссис Кромби, которая долго жила в одной семье, но потом все ее воспитанники выросли, сами стали мамами и папами и, устав от болтливости, а может, сварливости старой няни, отправили ее на пенсию.

Следующая встреча Роз с миссис Симмонс произошла из-за Кевина. В теплые денечки Кевин любил играть на балконе; разговаривая сам с собой, как большой, укладывал спать куклу, строил домик или тихонько катал машинку перед кухонным окном, пока Роз яростно пылесосила, ползала на коленях, оттирая пол на кухне, или раскатывала тесто для печенья.

Роз привычно выглянула на балкон, где играл Кевин, но его нигде не было видно! Боже милосердный! Роз сломя голову выскочила на балкон, даже не обтерев с рук тесто, и, оглядываясь по сторонам, побежала к мусорным бакам. Кевину было строго-настрого запрещено подходить к ним, Роз втолковывала ему, что они «грязные» и в них бывают всякие «бьяки» — личинки мух, тараканы и крысы. Кевина там не было; она обошла вокруг баков, даже заглянула в один. И сердце Роз глухо застучало: так же стучало оно, когда Роз, перегнувшись через перила балкона, смотрела, как Рег и эта девица, белая дохлятина, выходят из дому, идут через желтеющий сквер с загубленными саженцами и, смеясь, садятся в старую, помятую малолитражку. Кевина не было видно и внизу, среди горластых сорванцов в футболках и рваных шортах и распущенных девчонок; одна из них нацепила материнское платье, туфли на высоченных каблуках и, вихляя, семенила по двору.

— Кевин! — пронзительно закричала Роз. — Кевин! Где же ты?

Ее крик раскатился гулким эхом, отскакивая от стены к стене, как мячик, которым часами стучала в коридорах дома шестнадцатилетняя девочка со странно плоским лицом, пока наконец родители («мы с ней уже не справляемся») не отправили ее в какой-то приют в Уэльсе, так далеко, что могли спать с чистой совестью, если навещали ее хотя бы раз в месяц.

— Кевин!

Только теперь Роз заметила, что дверь в нору миссис Симмонс приоткрыта. Она подбежала поближе и позвала сына.

— Мама!

Судя по его счастливому голосу, с ним ничего не случилось; он и выглядел таким же довольным и счастливым, когда Роз, не постучавшись и не позвонив, распахнула дверь и столкнулась лицом к лицу со старухой, державшей Кевина за руку.

— Что ты здесь делаешь?

— Я угостила его кока-колой,— сказала старуха своим хриловатым гортанным голосом, ничуть не смутившись, несмотря на укоряющий тон Роз и ее пылающее лицо. Можно было подумать, что Кевин вдруг стал ее ребенком, а Роз — всего-навсего няней при нем.

Роз не давала Кевину кока-колы и не разрешала сосать леденцы, после того как вычитала в каком-то журнале в разделе медицинских советов, что сахар — это «белая смерть» (фраза прочно засела у ней в голове). Но тут она заставила себя улыбнуться, еще тяжело переводя дух:

— Ну и напугал же он меня!

— А что с ним могло случиться?— Старуха медленно выпрямилась, и лицо ее исказилось гримасой, как от боли. Потом кивком головы пригласила:— Входите.

Это было приказание. Роз привыкла к приказаниям в больнице, но дома — это уж слишком! Однако она вошла, ей давно хотелось узнать, что там, в норе, за постоянно задернутыми шторами.

Аккуратистка и чистюля, Роз остолбенела, увидев бедлам, который так ненавидела с детства. Она спасалась от бедлама, от дикой распущенности, беспорядка, пыли и грязи, когда покинула лачугу, слепленную из досок и кусков рифленого железа, мучилась рвотой в самолете и в конце концов осела здесь, в Баттерси, у дальнего родственника — единственного, кого она знала в Лондоне; в первые же дни он затащил ее в постель и с каким-то ожесточением, не зная

устали, утолял свою похоть, тогда-то и зачал Кевина; потом заставил ее работать, а сам пил, играл и торговал наркотиками. Теперь Роз только и делала, что старалась справиться с бедламом: в больнице без передышки разносила поильники, бутылки с дезинфицирующими растворами, «утки», горшки и щетки, а дома почти все «свободное время» скребла, терла и пылесосила.

У миссис Симмонс бедлам царил повсюду. В комнате стоял тяжелый дух пыли, вьезшейся в шторы и ковры; от расколотой грязной раковины с горой немытой посуды пахло кислятиной; парафиновый обогреватель, который в этот осенний день был так накален, что запотели стены, источал едкий запах. Кругом, даже на софе, стульях и столах, в беспорядке валялись картонные и жестяные коробки, старые саквояжи и чемоданы, книги и стопки бумаги. На стенах висели потемневшие картины религиозного содержания, как правильно решила Роз, хотя и не знала, что они называются иконами, а среди них — обрывки рваных кружев и парчи, пожелтевшие от времени фотографии и запыленные портреты в растрескавшихся рамах.

— Хотите чаю? — спросила старуха. — Я всегда пью чай в это время.

Оторопевшая Роз кивнула. Кевину дали покрытую пылью деревянную лошадку на колесиках, и теперь он катал ее взад и вперед по маленькому квадрату пола, не застеленному разношерстными остатками старых ковров. Когда Кевин дергал за веревочку, звякал колокольчик, и лошадка махала хвостом, но не из стороны в сторону, а вверх и вниз; Роз ни разу не видела, чтобы лошади так махали хвостами.

На столе стоял самовар; когда-то он сиял надраенными боками в каком-нибудь русском доме, а теперь совсем почернел. Старуха вязаной ухваткой взяла с плиты чайник, пыхтевший на тихом огне, и вылила его содержимое в самовар. Прodelав это, она улыбнулась Роз, и неожиданно ее поразительно голубые глаза на сморщенном, как у индийского крестьянина, смуглом лице засветились нежностью. Она достала чашку с отбитой ручкой и блюдце со щербин-

ками, дунула в чашку, перевернула ее, встряхнула и, поставив под краник самовара, налила в нее чай, темный, как чернила.

— Садитесь.

Роз села на софу, съежившись в уголке, чтобы не задеть груды книг и черный шерстяной носок с воткнутой в него штопальной иглой. Старуха подала Роз чашку. Ее невозможно было держать в руках, она обжигала пальцы; Роз достала из кармана носовой платок, обернула им чашку, сделала глоток и едва сдержалась, чтобы не сморщиться. Чай был горьким, как хина.

— Нам прежде не доводилось разговаривать.— Старуха говорила, стоя около Роз.

— Никогда.

— Я избегаю соседей. Беднота. И ужасно назойливые. Но мне нравится ваш малыш. Мы с ним друзья. Правда, Кевин?

Роз ощутила укол ревности, сердце словно сжали тиски — неужели Кевин потихоньку от нее приходил сюда раньше? Кевин не ответил, даже не взглянул в их сторону. Хвост лошадки дергался вверх и вниз, звякал колокольчик.

— Вы не англичанка,— сухо сказала Роз, давая понять, что не расстанется со своим добром.

Скинув на пол несколько книг, воскресное приложение, то самое, из мусорного бака, и металлический поднос с розами — рисунок на нем почти совсем стерся,— старуха прилегла на кушетку в углу захламленной комнаты.

— Нет, не англичанка,— ответила она.— Слава богу.

Роз тоже не была англичанкой, но хотела ею быть и поэтому возмутилась:

— Почему же слава богу?

— Ужасный народ. Не умеет веселиться... А вы откуда?

— С Антильских островов,— ответила Роз, твердо решив не называть свой родной остров в безотчетном страхе, как бы эта чудная старуха не наклепала на нее чего дурного.

— Я так и думала, что оттуда или из Африки. Кевин вроде бы не знает.

Значит, она не ошиблась: Кевин бывал здесь раньше. Вот хитрец!

— Кевин родился в Англии.— Роз старалась говорить с достоинством.— А вы? Вы откуда родом?— Это прозвучало невежливо, но ей было все равно, хотя она постоянно внушала Кевину, как важно быть вежливым.

— Из России.

Роз отпила ужасного чая, хвост лошадки поднялся вверх и опустился, звякнул колокольчик.

— Я объездила весь свет,— продолжала миссис Симмонс.— Жила в Китае и в Японии. Во Франции и в Германии. Но, похоже, моим костям суждено лежать здесь. Видно, судьба!.. Еще чая, милочка?

Роз покачала головой в короне блестящих волос; ее била дрожь. Она огляделась.

— У вас... много вещей.

— Да, много. Я как камень, который хотя и падает, но умудряется обрасти мхом,— улыбнулась миссис Симмонс.— Своего рода исключение из правила. Я всегда была исключением из любого правила.— Последнюю фразу она произнесла не без гордости.

Роз показала на пожелтевшую фотографию, вставленную в паспарту. Две лошади, собаки и группа людей перед низким вытянутым домом.

— Где это? На Англию не похоже.

— Нет, не Англия. Это Крым. Мой старый загородный дом. *Один* из моих загородных домов. Бог знает, что с ним случилось. Давно уже нет лошадей, собак, да и почти все эти люди умерли.— Она запрокинула голову и засмеялась на удивление молодым смехом, будто выплескивающимся из сморщенного, согбенного тела. Потом показала на фотографию.— А вот это я,— сказала миссис Симмонс. Роз вытаращила глаза:— Да, да, девушка с зонтиком, пышными волосами и длинным носом.

Миссис Симмонс приподнялась и ткнула далеко не чистым пальцем в один из силуэтов на фотографии:

— С возрастом моя внешность значительно улучшилась.

Потом снова улеглась на кушетку и принялась с оскорбительной откровенностью разглядывать Роз с головы до пят, от копны вьющихся блестящих волос до шлепанцев, в которых Роз выскочила на балкон в поисках Кевина.

— Вы красивая,— проговорила она наконец.— Вы не замужем?

Роз покачала головой. Она и не была замужем, но не призналась бы в этом никому, тем более этой бесцеремонной старухе.

— В вашем возрасте нельзя без мужа.

— От мужчин одни неприятности,— убежденно сказала Роз.— Во всяком случае, от черных. Я это по себе знаю.

— О, мужчины так забавны, с ними не соскучишься!— воскликнула старая дама.— С черными, белыми, желтыми — со всеми!

И снова рассмеялась своим удивительно молодым смехом.

Так Роз познакомилась с миссис Симмонс; вскоре миссис Кромби легла в больницу на «пустяковую», по ее словам, операцию (операция, правда, оказалась настолько серьезной, что миссис Кромби так и не вышла из больницы), и Роз, уходя на ночные дежурства, стала оставлять Кевина с миссис Симмонс. У нее сжималось сердце, когда она приводила свое дитя в эту темную нору с продавленной, поломанной мебелью, грязными стенами, увешанными иконами, портретами, фотографиями, ветошью из кружев и парчи, в нору, пропахшую пылью, тлением и старостью. Но уж лучше ему быть здесь, чем в компании грубых горлопанов, которые бегают по двору с сопливыми носами, грязные и оборванные; Роз старалась не сталкиваться с их матерями, даже коммунальной прачечной не пользовалась. И снова у Роз сжималось сердце, перехватывало дыхание, ноздри ее широкого носа начинали дрожать, когда она приходила за сыном, а он канючил: «Ну, еще немножечко, ну, мамочка!»— ведь они еще не доиграли или не досмотрели альбом с фотографиями.

Нередко Роз, поддавшись на уговоры, заходила выпить

чашку горького чая из самовара, а то даже водки или вина; ей подавали их в мутном стакане, и Роз, давась от отвращения, гадала, когда его мыли в последний раз. Однажды она, смущаясь, предложила миссис Симмонс платить за то, что она остается с Кевином, как платила миссис Кромби. Но старуха злобно глянула на Роз и отрезала:

— Еще чего!

Тогда Роз начала оказывать миссис Симмонс разные мелкие услуги.

Но к домашним делам Роз не допускали, в этом миссис Симмонс была непреклонна. «Нет, нет, терпеть не могу, когда трогают мои вещи!» То и дело ломался лифт, приближалась зима, у старушки обострился бронхит, она хрипела и кашляла, и Роз позволили ходить в магазин и на почту. Благодарностью ее не баловали.

— Какие яблоки ты купила? Я же просила оранжевый пепин, а дураку видно, что это голден!— ворчала миссис Симмонс.

Или:

— Куда ты только смотрела? Да тут половина картошки зеленая!

Роз казалось, что ей выговаривают, как прислуге; она и в больнице порой чувствовала, что с ней обращаются как с прислугой, и все потому, что она цветная. Но потом Роз говорила себе, что на миссис Симмонс нельзя обижаться, она старенькая — по пенсионной книжке ей уже восемьдесят восемь,— а старики деспотичны и привередливы.

Миссис Симмонс часто расспрашивала Роз, но о себе рассказывала неохотно.

— Кто был мистер Симмонс?

— Человек.

— Он умер?

— Слава богу, давно.

— Джентльмен, который навещает вас, его сын?

— Нет, это мой сын, но от другого. Слово «джентльмен», по-моему, к нему не подходит.

— Значит, вы дважды были замужем?

— Столько раз, что со счета сбилась. Симмонс был моим последним мужем и самым скверным. К тому времени мне уже следовало лучше разбираться в мужчинах. А тебе не кажется, что ты чересчур любопытна?

Когда к миссис Симмонс приходил сын, один или с приятелем, похожим на боксера, Роз и Кевин переставали для нее существовать. Как-то раз Кевин играл на балконе, Роз мыла посуду и увидела в окно, что миссис Симмонс идет с сыном к лифту (на сей раз без приятеля). Кевин посмотрел на них снизу вверх и закричал:

— Ты видела мой новый самолет?

Миссис Симмонс прошла мимо, будто не слышала, а сын сказал, лениво растягивая слова:

— Первый сорт.

На следующий день Роз спросила миссис Симмонс:

— А что ваш сын делает?

— Пишет.

— Пишет? Что?

— Тебе зачем знать?

Роз обиженно вспыхнула:

— Между прочим, я умею читать.

— Разумеется, дорогая. Известно, что ты читаешь.

Сама миссис Симмонс не стеснялась выпрашивать у Роз интимнейшие подробности. Роз твердо решала, что не даст ничего выведать, но потом не замечала, как выкладывала всю подноготную. Такой у нее был характер — она никогда не могла отказать людям в помощи, деньгах, участии или просто в каких-то сведениях.

— Ну и дурака ты сваяла! — радостно восклицала миссис Симмонс, когда узнавала о Роз что-нибудь новенькое.

Или:

— Для чего только у тебя голова на плечах?

Изредка миссис Симмонс навещали и другие гости. Обычно приезжала большая машина, в их округе таких и не видавали, а как-то раз в машине за рулем сидел шофер с седыми усами и в ливрее, с трудом сходящейся на его толстом животе. Миссис Симмонс спускалась вниз в меховом мантио

и всегда в одной и той же черной шляпе с поблескивавшей искорками вуалью, садилась в машину и уезжала на полдня, а иной раз и до вечера.

— Хорошо провели время? — спросила Роз после одного такого выезда.

— Отвратительно.

Прикрыв глаза, миссис Симмонс лежала под пледом на кушетке; услышав вопрос, она дернула ногой, сбив плед, и Роз показалось, что старуха хотела дать ей пинка.

— Но зато какое чудесное зрелище эти огни! — проговорила она, как бы сожалея о своей несдержанности. — Ужасно много машин, но огни чудесны.

После поездки с шофером в ливрее Роз спросила:

— Эта дама ваша родственница?

Миссис Симмонс раздраженно оборвала Роз:

— Вечно ты лезешь с вопросами! — и продолжала с ехидством в голосе: — Если тебе так уж хочется знать, нет, не родственница. Соотечественница, — она скорчила гримасу и добавила: — Глупа как пень.

А потом миссис Симмонс слегла. У нее поднялась температура, ее «не слушались» ноги, она тяжело дышала, судорожно глотая воздух, жилы на шее напрягались и раздувались ноздри. У Роз наконец-то появился предлог обратиться к сыну миссис Симмонс, и он вызвал врача. Сын тоже обходился с Роз как с прислугой, но ее это больше не задевало. Роз давно перестала ревновать Кевина к старой даме, потому что сама привязалась к ней. Иногда, разогревая суп или взбивая яйцо, она воображала, будто эта старуха, нахохлившаяся под пледом на кушетке, точно больная птица, только клюв и когти торчат, на самом деле ее бабушка, которую она давным-давно потеряла и вот теперь нашла.

— Доктора Камерона беспокоит ее состояние. Ей лучше перебраться к нам или в приют, но она и слышать об этом не хочет. Что же делать?

Что еще оставалось делать Роз, как только убирать, стряпать, выносить горшки, бегать в магазин, уговаривать принимать лекарства и готовить ингаляции?! Доктор Камерон

ничего не говорил про ингаляции, эта была идея Роз, но, как уверяла миссис Симмонс, только они ей помогают, и Роз была рада, что угодила. Вдыхая запах эвкалипта и ментола, Роз, будто листок, подхваченный легким благоухающим ветерком, переносилась в детство, в лачугу из досок и кусков железа. Кевин садился на кровать к миссис Симмонс, они играли в карты, если старушка бывала бодрa, а когда силы покидали ее, играл сам с собой.

Как-то вечером миссис Симмонс начала заговариваться; последнее время она нередко впадала в забытье; веки опущены, Роз видны только белки глаз, руки и ноги под простыней мелко дрожат.

— Это было чудесно...— бормотала она.— Правда чудесно. У тебя наконец-то получилось...

Роз гадала, что старушка хотела сказать; она была слегка смущена, как если бы нечаянно подслушала что-то запретное.

Когда на следующее утро Роз пришла приготовить завтрак, миссис Симмонс не лежала, а сидела в кровати, обложившись подушками. На белом вязаном покрывале (только на прошлой неделе Роз выстирала его и аккуратно выгладила) валялись груды фотографий; их извлекли из ящичков, чемоданов и коробок, которые были в беспорядке разбросаны по всей комнате, словно здесь побывали грабители. Невозможно было поверить, что все это натворила немощная старуха. Роз в ужасе закричала:

— Что вы наделали?!

Миссис Симмонс не ответила, даже не шелохнулась. Она сидела, уставившись на какой-то предмет, который сжимала в руках. Роз подошла поближе к кровати, робко говоря себе, что ничего страшного, просто на «старушку опять нашло», и увидела в руках миссис Симмонс одну из тех диковинных картин, что висели у нее над кроватью. На картине был изображен распятый Христос, в серебряном окладе вокруг головы.

Роз принялась тормошить миссис Симмонс и вдруг почувствовала, что та не поддается; но она все трясла и трясла ее:

— Мне некогда. Я спешу. Кевину нельзя опаздывать второй раз за неделю. Сварить вам яйцо или сделать омлет?

Роз еще долго не хотела понять, что тело, которое она так неистово трясла, давно остыло.

Роз замечали, когда нужно было что-то убрать, унести или принести, приготовить чай или кофе.

— Где привратник?— спросил сын миссис Симмонс и, получив ответ, велел Роз спуститься за ним.

— Могу я воспользоваться вашим телефоном?— сказал он и, не дожидаясь разрешения, снял трубку.

Приятель сына, похожий на боксера, спросил, где Кевин. У соседки, ответила Роз, он еще не понимает, что миссис Симмонс больше нет, но приятель, не дослушав, отвернулся.

— Надо узнать насчет пособия на похороны,— напомнил он сыну миссис Симмонс.

Когда служащие похоронного бюро выносили гроб с покойной, Роз почувствовала, что вот-вот расплачется, в первый раз с тех пор, как вошла в спальню, где мертвое тело возвышалось на подушках посреди груды фотографий. Роз спросила старика в синем лоснящемся костюме и с багровым, похожим на луковицу носом запойного пьяницы, где будут похороны. Он сухо ответил:

— В крематории Патни Вейл. Только для самых близких.

— О, я понимаю!— Роз показалось, что она снова стоит на балконе и смотрит, как Рег и эта белая дохлятина со шрамами на запястьях садятся в старый драндулет.— Мне так хотелось пойти!

Тогда старик сказал, что на следующую пятницу назначена панихида у Святого Павла — «в 2.15 полдни».

— Вы хотите сказать, в соборе?— Роз не верила своим ушам.

Старик рассмеялся, тряся головой и потирая нос, похожий на красную луковицу.

— Нет, не в соборе,— ответил он.— В церкви Святого Павла в Ковент-Гардене.

Роз надела на Кевина серый в тонкую полоску костюм с короткими штанишками и темно-серые чулки, которые купила специально для этого случая. Сама же надела темно-синее платье и такую же шляпу с широкими низкими полями, тоже купленную к случаю.

Они долго ехали автобусом, с несколькими пересадками; по дороге Кевин раскапризничался, а Роз сердилась на него. Она нашла церковь на карте, которую ей одолжил один португалец, санитар в больнице. Но добраться туда оказалось значительно сложнее. Давно прошло «2.15 полдни», когда Роз, волоча за собой хныкающего Кевина, торопливо поднималась по ступенькам.

К ее изумлению, в церковь оказалось невозможно войти. Она была битком набита, люди толпились в дверях. Изнутри доносился гулкой торжественный голос, но, даже привстав на цыпочки и вытянув шею, Роз ничего не увидела. Перед ней стоял высокий вертлявый мужчина в синем вельветовом костюме, и как только Роз пыталась что-нибудь разглядеть через его плечо, он поднимал руку и ерошил ею копну пушистых светлых волос; Роз протиснулась было вперед, но мужчина раздраженно пробурчал что-то.

— Извините,— прошептала Роз. Тут еще Кевин наступил на его начищенный до блеска ботинок.

— Господи!

— Простите,— опять прошептала Роз, поскольку Кевин и не подумал извиниться. Потом спросила:— Это панихида по миссис Симмонс?— Она не сомневалась, что произошла ошибка.

— Да,— недовольно кивнул мужчина.— По Ирине Аникиевне. Миссис Симмонс.

Он поджал губы, и рука его снова взметнулась к копне пушистых волос. Он не был расположен беседовать. Невидимый хор запел «Господь — мой пастырь», и Кевин затянул свою жалобную песнь, но не скорби, а скуки и усталости.

— Столько народу... Такая толпа...— лепетала Роз.— Почему, откуда?

Молодой человек смерил ее презрительным взглядом, потряхнул головой и пожал плечами.

— Ничего особенного,— сказал он.— В «Колизее» на ее выступления собиралось раз в двадцать больше зрителей.

Только теперь Роз догадалась, что старушка когда-то была знаменитостью; но она еще не скоро узнала, что судьба свела ее с одной из величайших балерин эпохи, имя которой стояло рядом с Павловой и Карсавиной.

Содержание

- 5 *Георгий Анджапаридзе. Трагизм обыденности*
- 16 *Дом. Перевод В. Харитонова*
- 29 *Один-ноль. Перевод М. Зинде*
- 43 *Хороший конец. Перевод О. Янковской*
- 54 *Великолепный старик. Перевод Г. Дуткиной*
- 76 *Куклы. Перевод С. Фридриха*
- 90 *Коза. Перевод С. Фридриха*
- 100 *Тризна. Перевод М. Зинде*
- 114 *Методом перевода. Перевод Г. Дуткиной*
- 139 *Слепота. Перевод М. Зинде*
- 146 *Аппетит. Перевод М. Зинде*
- 157 *Воскресные газеты. Перевод М. Зинде*
- 167 *Голоса. Перевод О. Янковской*
- 184 *Дом из стекла. Перевод Г. Дуткиной*
- 205 *Старая дама, проходившая мимо.
Перевод Н. Васильевой*

Кинг Ф.

К41 Дом: Рассказы/ Пер. с англ. Сост. А. Николаевской. Предисл. Георгия Анджапаридзе.— М.: Известия, 1985.—224 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В книгу включены рассказы из четырех сборников английского писателя Фрэнсиса Кинга, в том числе из его последнего — «Методом перевода». Повседневность и фантастика, горе и радость, смерть и жизнь — эти полярные, но почти всегда присутствующие категории в повествовании тонкого, вдумчивого мастера определяют судьбы и поступки его героев.

К $\frac{4703000000-044}{074(02)-85}$ 85—85

ББК 84.4Вл
И (Англ)

ФРЭНСИС КИНГ

ДОМ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *А. Николаевская*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 938

Сдано в набор 27.07.84. Подписано в печать 03.12.84. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 18,5. Уч.-изд. л. 10,88. Тираж 50 000 экз. Зак. № 737. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Фрэнсис Кинг,

известный английский писатель, автор романов и пяти сборников рассказов, родился в 1923 году. Работал в Италии, Греции, Египте, Финляндии, Японии.

В настоящее время — театральный критик газеты "Санди телеграф".

Кинг — признанный мастер "малого жанра", его рассказы, по мнению отечественной критики, отличаются лаконичность стиля, меткость метафоры, острота сюжета.

Но самое главное их достоинство — широкий тематический диапазон, чему способствуют не только его богатый жизненный опыт, прекрасное знакомство с культурой различных стран, но и цепкий, "пристрастный" взгляд художника.

